



БИБЛИОТЕКА
ИСКУССТВ
ИМЕНИ
А.П. БОГОЛЮБОВА



Ленинград, 1975 г.

ТАТЬЯНА ГОРИЧЕВА

ОПАСНО ГОВОРИТЬ О БОГЕ

Москва
2019

УДК 141.4
ББК 86.37
Г 69

Горичева, Т. М.

Г 69 **Опасно говорить о Боге** / Т. М. Горичева. — Москва, 2019. — 126 с.

ISBN

«Опасно говорить о Боге» — самая знаменитая книга Татьяны Горичевой. Она была переведена и издана на 26 языках, и только на немецком языке выдержала 23 переиздания. Всю эту работу вело немецкое издательство «Herder». Спустя 35 лет она впервые выходит на родине.

УДК 141.4
ББК 186.37

© Т. М. Горичева, 1984
© Herder Verlag, 1984

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава первая.</i> Встреча с нечистым	7
<i>Глава вторая.</i> Моё обращение	19
<i>Глава третья.</i> Тайна примирения	29
<i>Глава четвёртая.</i> Отец Александр	38
<i>Глава пятая.</i> Первая любовь	45
<i>Глава шестая.</i> Наш семинар	58
<i>Глава седьмая.</i> И не было в нём вида... (У баптистов)	70
<i>Глава восьмая.</i> В монастыре	76
<i>Глава девятая.</i> Из дневника эмигрантки	96

Глава первая

Встреча с нечистым

14 ноября в восемь часов утра в нашу стрельнинскую квартиру раздался звонок. Я поздно легла и поэтому проснулась лишь от окрика отца:

— Таня, к тебе пришли!

— Кто?

— Борис.

Поднимаю голову, стараюсь разглядеть, кто там, в прихожей. Какая-то высокая чёрная фигура. Увидев, что я всматриваюсь, пытается спрятаться в тень. Кто-нибудь из Москвы приехал, что ли, мелькает мысль. Но следующая уже правильная — КГБ. Я не пришла по повестке к следователю Кармацкому по делу Владимира Пореша. КГБ явилось само.

Совсем недавно мы вместе с Владимиром размышляли, как соединить наши семинары — ленинградский и московский. Мы размечтались, и даже пришли к идее создать подпольную православную академию. Володя должен был преподавать историю церкви, Лев Регельсон — догматику, а я — философию. Сегодня все они отбывают в ГУЛаге: Саша Огородников, Володя, Таня Щипкова, Витя Попков, Лёва Регельсон. Аресты и обыски продолжаются по сей день.

Сон мгновенно отлетает, я прихожу в полное сознание. Выхожу к «Боре».

— По какому праву Вы здесь стоите?

Он суетливо показывает свою красную книжечку и повестку для меня в КГБ:

— Пройдёмте, Татьяна Михайловна, не будем усложнять ситуацию. Внизу ждёт машина, — говорит «Боря» шёпотом (чтобы не слышали родители).

— Никуда я с Вами не поеду!

Я сажусь за письменный стол и принимаюсь за чтение «Католической догматики» Ранера.

Родители, осознав в чём дело, набрасываются на меня. Чего только не услышала я от них!

— Поезжай, пока по-хорошему приглашают. И так позоришь нас перед всей Стрельной — тебя уже монахиней считают. Сколько лет училась — и всё зря! В наше время сажают только за дело. А вы — с жиру беситесь. Всех вас давно пора посадить!

Это всё мать. Бедная, она прячет мои иконы, когда я ухожу, — чтобы не видели соседи. Она глубоко вздыхает и не может заснуть, когда я вечером молюсь в ванной.

Кричит:

— Давай подпишу вызов, и убирайся за границу! (Наконец-то я услышала то, чего раньше так безуспешно добивалась).

— Вы готовы выдать меня любой шайке разбойников, а КГБ — самая наглая из всех шаек.

Родители мечутся по квартире, не зная, как подействовать на меня. В это время «Боря» скромно стоит в коридоре, переминаясь с ноги на ногу.

Она бросается к нему:

— Да Вы присядьте, не хотите ли чаю? Видите, какая она сумасшедшая.

Мать (бедная, ей стыдно за меня) шепчет:

— Она три языка знает, философский кончила и в аспирантуру направление получила, но взяли кого-то другого. Представляете, работает лифтьёром!

«Боря» резонно отвечает:

— Это её дело...

Вот так ситуация — КГБ оказывается моим моральным защитником!

А бедные родители потеряли голову от страха и непонимания. Они всегда знали, что их дочь упряма и неразумна, но чтобы такое! Ведь сколько усердия выказало КГБ, чтобы эта безумная ответила на несколько незамысловатых вопросов: и «Волгу» пригнали, и такого симпатичного молодого человека от общественно-полезного труда отвлекли. Какое доброе КГБ, что до сих пор не посадило эту фанатичку и тунеядку!

У моих родителей в крови — страх, парализующий всякую нормальную мысль и здоровое чувство. Они выросли совсем в другое время. В то время, когда не увозили в машинах, но и расстреливали тут же, в подвале собственного дома.

Так в угрозах и оскорблениях проходит два часа. Я молчу и не двигаюсь с места. Наконец, «Боря» потерял терпение.

— Можно от вас позвонить?

— Звоните, звоните, пожалуйста! — хором заискивающих голосов отвечают ему. — Для Вас сейчас телефон включим, мы его на ночь отключаем — много звонят.

«Боря» говорит с кем-то из КГБ:

— Ну что, будем с милицией брать? Так она не поедет, а второй раз ехать тоже бесполезно, да и далеко.

«Вызывай милицию, — отвечают ему, — с каким-нибудь „толковым“ капитаном, который смог бы составить акт, если Горичева будет оказывать сопротивление».

Тут истерика родителей достигла своего апогея.

— Не позорь нас окончательно перед соседями! — молит мать.

Отец весь дрожит — почти в нервном припадке.

Из милиции позвонили: машина выехала. Тогда мне стало очень жаль отца, да и с милицией им всё равно удалось бы взять меня. Я встала и сказала, что согласна ехать.

«Боря» немедленно позвонил:

— Машину не надо, она согласилась, но отряд не распускайте, неизвестно, чего от неё ещё можно ждать.

— И часто Вам приходится так? — спрашивает отец.

— Приходится, но такого ещё не было никогда.

В КГБ меня доставили к Кармацкому, который с достоинством представился и дал мне прочесть бумагу о правах и обязанностях свидетеля.

— Я отказываюсь участвовать в этом деле, — говорю я.

— Почему? Дайте хотя бы положительную характеристику Порешу. Мы же не звери какие-то, мы хотим объективно разобраться во всём. Вы же понимаете, что Вы не поможете ему отказом, а себе навредите.

— Я отказываюсь говорить с Вами.

Кармацкий хочет что-то сказать, но, открыв, снова закрывает рот. Сказать ему нечего, бедняге: угрожать он не имеет права — ведь у меня тогда будет

веская причина отказаться от диалога с ним (следователь нарушил этику допроса — угрожал). К тому же «голоса» раздуют, разнесут: КГБ угрожает редактору самиздатного журнала «37».

Итак, Кармацкому ничего не остаётся, как только напечатать в протоколе:

— Быть свидетелем отказываюсь, так как отказываюсь принимать участие в деле, направленном на ограничение обмена информацией (согласно Хельсинским соглашениям и Декларации прав человека).

Я не впервые в этих стенах. Правильный стиль поведения мне удалось найти не сразу. Начало было тяжёлым. Вначале многие мои друзья пытаются что-то придумывать и говорить только хорошее. Но в злых делах сатана всегда хитрее нас. Любой диалог с ним превращается в игру в одни ворота. И в конечном счёте у дьявола давно разработаны хитрые, проверенные методы, с помощью которых он превращает человека в предателя.

Страх я перед ними не испытываю — я отказалась испытывать страх ещё пять лет назад, когда мы начали издавать наш первый самиздатский журнал в Ленинграде, вернее сказать, я отказалась сразу же от всех страхов ещё раньше — когда обратилась (у меня остался только один страх — страх Божий).

А если вспомнить ещё точнее, то бояться я перестала где-то в 19 лет, когда почувствовала своё призвание — быть философом, так как, чтобы познавать, необходимо мужество.

Итак, страха нет, но есть напряжение: ведь ты попал совсем в другое метафизическое измерение, перед тобой почти не люди, почти автоматы,

исполнители злой и губительной воли, пустые и сытые убийцы.

А как это трудно! Как трудно видеть перед собой, пускай и заплывшее, пускай и мёртвое, но всё же человеческое лицо — лицо существа, созданного по образу и подобию Божьему! Но «блажен муж иже не иде на совет нечестивых». И как раньше я отгоняла суетные помыслы и бесовские наваждения, используя советы Святых Отцов — не слушать их, не принимать их в сердце, обрубить их сразу, не советуясь с бесом, так отгоняю я и всё то, что говорят мне в стенах этого сатанинского капища.

Вспоминается евангельское: «Будьте кротки, как голуби, и мудры, как змии».

Кротки, как голуби. Помню, когда однажды я почувствовала, что после звонка в Италию меня сопровождают, за мной идут по пятам, а впереди — пустынный ночной посёлок, где один раз уже напали на меня, — когда мне стало жутко, и никакими волевыми усилиями я не могла победить растущее беспокойство, меня спасли внезапно всплывшие в памяти слова: «Яко овча был ведён на заклание и яко агнец пред лицом стригущего его безгласен».

Величайшую силу даёт смирение, мир вновь воцарился в моей душе, и я, забыв о преследователях, благополучно добралась до дому. Смирение даёт полную открытость будущему и готовность принять любую судьбу. Смирением побеждается страх, смирение делает тебя безмятежным — но ты в стане врага, тебе нельзя расслабиться, ты должен помнить: будьте «мудры, как змии». За себя не страшно, но как бы не навредить другим, как выйти из этого огня, не дав ему никакой пищи?

Самое лучшее — молчать. Когда меня десять лет тому назад впервые задержали и стали расспрашивать о знакомых с философского факультета, я пыталась рассказать лишь хорошее. Потом уже, вернувшись домой, я с ужасом обнаружила, что большинство вопросов не были прямыми. Они не были искренними, и спрашивали совсем не о том, о чём хотели узнать. Например, следователь спросил меня, где живёт В.Ф. Я назвала знакомый адрес, предполагая, что КГБ он известен. Но следователь хотел лишь выявить степень моей близости с этим В.Ф. Мною манипулировали и играли. Но этого свидания мне хватило, чтобы выработать на всю оставшуюся жизнь тактику поведения в КГБ: отказ от любого разговора. Позднее КГБ использовал различные психологические трюки, чтобы вовлечь меня в диалог: то строгий следователь сменялся милым и улыбающимся, то звонили в психиатрическую клинику, то угрожали подействовать на моих родителей. Я пыталась не обращать внимания.

Не верь, не бойся, не проси

Я тихо про себя молилась. Особо помогала Иисусова молитва. Она как бы защищала меня непроницаемой стеной. В молитве я чувствовала себя полностью защищённой в любых обстоятельствах.

Святые Отцы советуют бороться с бесами не отвечая и не веря им. Долгие, изматывающие попытки следователей КГБ ни к чему не приводили. Я не пускала их слова и действия в своё сознание. Так в нашей диссидентской практике мы столкнулись с опытом аскетов. Когда-то Солженицын дал ясную

формулу того, как вести себя в КГБ: «Не верь, не бойся, не проси...» Ещё одно потрясающее сходство с поведением бесов обнаружилось в методе этой организации: как умело пользовались они человеческими слабостями. Их существование покоилось на эксплуатации низких человеческих страстей: страха, зависти, тщеславия, недоверия. Как только возникало что-то необычное — семинары, самиздат, кружки, начиналось разложение всего нового и живого изнутри, стравливание людей друг с другом. Так же они обошлись и с нашим религиозным семинаром. Особое беспокойство проявило КГБ с того момента, как к нам пришли баптисты (те, которые официально не регистрировали свои общины). Они тут же приглашали баптистов на разговор, чтобы объяснить им, к каким отребьям общества мы принадлежали. Об отце Льве Конине говорили, что он «извращенец», обо мне — что я пьяница. Все мы были ворами, проститутками, тунеядцами. Ведь баптисты, которых смущало уже то, что у нас курили, были моралистами. Про баптистов они рассказывали нам, православным, как о дремучих фанатиках, мрачных недочеловеках, агентах и американских шпионах. Конечно, мы знали об этой тактике КГБ и весело смеялись. Им не удалось поспорить нас с баптистами, но не всегда они работали так бездарно.

«Я отказываюсь с Вами говорить», — это было последним, что я произнесла в этих стенах.

Кармацкий выходит на десять минут.

Это время я посвятила молитве, открыв акафист Иисусу Сладчайшему (захватила из дома).

Возвратившись, Кармацкий вновь попытался начать со мной разговор:

— И о Гарцанити (это мой итальянский друг) ничего не скажете? Как вас задержали в гостинице.

— Естественно, не скажу.

— Следствию необходимо получить экспертизу Вашего почерка. Напишите на этом листке что-нибудь.

Кармацкий бегаёт вокруг моего столика, как услужливый лакей-официант, подносит какие-то бумаги, протоколы, но я на всё отвечаю:

— Почерка моего Вы не получите. Подписывать ничего не буду.

Комната с фикусами

Потом меня минут на двадцать уводят в другую комнату. Нечто вроде приёмной или гостиной, где стоят диваны и фикусы. Я открываю Ранера и углубляюсь в чтение.

Я не знала, какой срок дают за отказ от показаний, — возможно, год или два. Но Володя должен узнать, что у него есть настоящие друзья. Разговор в КГБ на этом не кончился. Они повели меня через длинные, однообразные коридоры, на стенах — ни одной картины, ни одного листа бумаги, все двери плотно закрыты: мир холодный, как кошмар. Что-то ирреальное было во всём этом. На целый час меня закрыли в комнату с фикусами. Я молилась и размышляла, что для меня самое трудное, почему чувствую такое напряжение.

Это кому-нибудь покажется смешным, но самое трудное переживание среди тех, которые мне удалось пережить в эти часы, — запрет любить. Вот

вроде бы человек перед тобой и имя носит христианское — а любовь к нему ты выказать не можешь, не имеешь права. Ты должен вести себя предельно отчуждённо, как если бы перед тобой был сам князь преисподней. («Как если бы», именно «как если бы», ведь это всё-таки человек, и я втайне молюсь: Господи, прости их, ибо не ведают, что творят!)

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Наконец, возвращается Кармацкий, который, очевидно, получил новые инструкции. Мы идём в его кабинет. Заговорили о философии, даже о Хайдеггере. Изначально следователь не производил впечатление образованного человека. Он специально осведомился о Мартине Хайдеггере, но всё бесполезно. Меня как будто бы не было. В моей душе звенели лишь слова из первого псалма.

— Скажите, Татьяна Михайловна, откуда у Вас и Пореша такая сильная вера? Вы ведь родились и выросли в нормальной советской семье. Ваши родители — интеллигентные люди, атеисты. У Вас нет никаких социальных корней, чтобы быть верующей, ведь Вы не из дворян и не из кулаков. Наше общество в целом не может порождать религиозное сознание, у нас нет к этому предпосылок: нет угнетения человека человеком, кругом победил атеизм, все могут читать и писать, никто не верит сказкам. Нам интересно, как вы — люди с университетским образованием, верите в такую бессмыслицу. Вы стали как те старикашки, что совершенно безграмотны.

Это не первый раз, когда КГБ пускается в столь обстоятельные рассуждения. Когда-то я объясняла, что наша вера родилась не под влиянием Запада, что живой Бог Сам пришёл в наши души, что нет большей радости, чем эта новая жизнь в Церкви. Вряд ли мне удалось убедить их. До сегодняшнего дня они ведут непримиримую борьбу с Духом, с тем, что недоступно их сознанию, представляет для них наивысшую угрозу. Они не нашли для себя материалистического объяснения для христианского обновления в сегодняшней России, и вряд ли его найдут. Но это не препятствовало аресту кроткого и талантливого Володи Пореша; Татьяны Щипковой, почти ослепшей за несколько лет в тюрьме; Саши Огородникова, который тоже тяжело болен.

— Вторично спрашиваю Вас: отказываетесь быть свидетелем? Вы знаете, какую ответственность Вы понесёте по статье 181?

— Знаю, я готова нести эту ответственность.

На этом — я свободна. Вечером встречаюсь с друзьями и узнаю: двоих привезли в КГБ вместе со мной. Им показали протест в защиту Пореша, составленный в Москве и подписанный также членами ленинградского религиозно-философского семинара. Друзья дали мне своё согласие на подписи, и я поставила их своим почерком. Этот протест попал в руки КГБ. Оно попробовало обвинить меня в клевете и подлоге. Но ничего не вышло. Мои друзья оказались на высоте: они признали, что подписи их и что они несут за эти подписи полную ответственность. Вот зачем Кармацкому нужна была экспертиза моего почерка.

Это посещение КГБ было одним из многих. Необычным было лишь то, что меня схватили не на улице, а явились ко мне домой.

На следующий день после визита КГБ отец был увезён в госпиталь инвалидов войны: приступ шитовидки. Теперь я не живу дома, и родители звонят мне на работу. Раньше мы вообще не разговаривали, теперь они говорят со мной совсем в другом тоне, как-то по-человечески. Может быть, что-то пробудилось в них? Да простит меня Господь, что доставляю им столько страданий.

Глава вторая

Моё обращение

Из никуда в никуда

Когда у меня спрашивают, что для меня означает открытие Бога, что мне через это обращение к Нему, я просто и коротко отвечаю: всё. Всё изменилось во мне и вокруг меня. Чтобы сказать ещё точнее: только обретя Бога, я начала жить. Для того, кто родился на Западе, это, наверное, непонятно. Западный человек появился в мире уже существующих традиций и норм — даже если они не столь абсолютны. Он мог нормально развиваться, читать любимые книги, общаться с друзьями, делать карьеру.

Он мог ездить в любую страну мира. Но он также мог уйти из этого мира, например, в семью, чтобы чувствовать себя комфортно, или в монастырь, или в науку — куда бы он ни захотел.

Я же родилась там, где с успехом искоренялись традиционные ценности культуры, религии и морали. Я пришла из ниоткуда и шла в никуда: у меня не было корней, я была обречена двигаться в пустое бессмысленное будущее. В детстве я дружила с девочкой, покончившей с собой в пятнадцать лет. Она не могла вынести всего того, что её окружало. Умирая, она оставила записку: «Я очень плохой человек». Она была человеком необыкновенной

чистоты сердца. Она не могла вынести лжи, сама не могла лгать. Это молодая девушка оставила жизнь потому, что чувствовала, что живёт не так, как должна была бы жить. Что она должна пробить пустоту, окружающую её, и обрести свет, но как это сделать, она не знала. Моя подруга была необыкновенно глубоким и совестливым человеком, она поняла, что она тоже виновата во всём. Сегодня, когда прошло двадцать лет со дня её смерти, я могу как христианка сказать: она открыла свою греховность. Она открыла фундаментальную истину, состоящую в том, что человек слаб и несовершенен, но другая, более важная истина осталась для неё недоступной: Бог может спасти человека, поднять падшего, вырвать его из самой непроглядной тьмы. Об этой надежде она никогда ни от кого не слышала, и умерла убитая отчаянием.

Я ненавидела всё и любила одиночество

В духовном плане я была гораздо бездарнее своей подруги. Я существовала как затравленный и злой маленький зверёныш, никогда не поднимая головы, никогда не пытаюсь что-либо понять, что-либо предпринять. В школьных сочинениях я писала то, что надо было писать: что я люблю родину, Ленина, свою маму. Но это было чистой ложью. С самого детства я ненавидела всё, что меня окружало: людей с их мелкими заботами и страхами, ненавидела до отвращения; я ненавидела родителей, которые ничем не отличались от других обывателей и которые случайно породили меня. Меня охватывало

бешенство, когда я думала, что выброшена в этот мир без всякого моего желания. Я ненавидела и всю природу с её вечно повторяющимися, скучными ритмами: лето, осень, зима...

Единственное, что я любила, — это одиночество. Самым лучшим временем было для меня, когда родители уходили, и я оставалась одна в нашей маленькой комнате. Тогда я мечтала — о таинственных замках и о Бесконечности. Позднее, когда я научилась читать, я отгородилась от мира непроницаемым занавесом. Даже во время прогулок, во время обеда, во время всех пауз я постоянно смотрела в книгу. Романтические герои были мужественными, свободными, возвышающимися над всеми людьми, не ставшие рабами смертельного конформизма жизни. Они стали моим идеалом. Но раньше я думала, что такие люди существуют только в книгах.

Только в книгах есть герои, которые не знают страха быть ограбленными, оболганными, недооценёнными. Только в книгах живут не по лжи. И всё же, я уже в детстве пообещала самой себе быть вместе с безрассудными и непонятыми героями: с дерзновенным Сирано де Бержераком или одиноким Оводом. Лучше умереть, чем превратиться в «нормального» человека.

Презрение, которым я жила, однако не мешало мне быть внешне послушным и тихим ребёнком, отличавшимся успехами в учёбе, хвалимым учителями и любимым товарищами. Конечно, я не осознавала, как непоследовательно моё поведение. Моё самосознание и моя совесть молчали.

*Никто мне не сказал, что самое высшее —
это любить*

В школе также поощрялись внешние, боевые качества. Хвалили того, кто лучше разрешит задачу, выше прыгнет, кто как-то отличится. Моя гордость укреплялась и достигла своего апогея. Быть умнее других, сильнее их — в этом состояла моя цель. Никто не сказал мне о том, что главное — не побеждать, а любить, любить до смерти, как любил единственный Сын Человеческий, которого мы тогда ещё не знали. О великих подвигах нам постоянно говорили. О подвигах революционеров, о железной воле героев войны, например Маресьева. Он мог ходить без ног и даже танцевал. Или о светлой личности Рахметова, готового спать на гвоздях ради идеи. Итак, нужно было развивать сильную волю, волю к победе.

Всем ясно, сколько последователей Ницше вышло из моего поколения и сколько ещё их породит наша действительность. Последователи Ницше, типа Раскольникова или героя «Записок из подполья», продолжают с цинизмом утверждать, что они завоюют или уже завоевали весь мир.

Ницше я прочла в девятнадцать лет (Евангелие только в двадцать шесть!!). Он мне сразу понравился, так же как Сартр, Камю, Хайдеггер, «экзистенциальная», бунтующая и такая родная философская мысль. В те хрущёвские времена они были частично разрешены. Существовали официальные и неофициальные переводы. В ленинградских кафе и трамваях интеллигенция обсуждала вопросы бессмысленного, абсурдного существования. Мы восхищались

идолами Запада больше, чем сам Запад. Для нас экзистенциализм был первым глотком свободы, первым открытым, незапрещённым словом. Интересно, что дальше наши пути разошлись. Западная молодёжь испытала революцию 1968 года. Она пошла по пути всё нарастающей политизированности сознания, восхищалась марксизмом. Сегодня она так же живёт мифом о революции.

Мы же, напротив, ушли в глубину, и открыли для себя непреходящие ценности культуры, нравственности. И наконец, мы обратились к Богу и вошли в церковь. Здесь, на Западе, это мало кому понятно.

Я не хотела восхвалять наше поколение, но у меня возникает впечатление, что русская интеллигенция более взрослая, чем интеллигенция западная. Живя на Западе, я чувствую себя как в дореволюционной России середины девятнадцатого века, когда идея революции и справедливости овладела нашей духовной элитой. Очевидно, это происходит не тогда, когда жизнь тяжела, а когда она полна скуки. И всё-таки наше освобождение во многом началось благодаря открытию западной мысли. Интересно, что когда мы открыли великий и чудесный мир христианства, мы ни разу не демонизировали ни безбожного Сартра, ни высокомерного Камю. При всей своей антирелигиозности Сартр подвёл нас к границе отчаяния, туда, где начинается вера. Его размышления о том, что человек каждую секунду совершает свободный выбор, — по существу, христианская мысль. Ведь Бог благоволит к свободе человека и, уважая его свободное решение, Он не уничтожает зло в мире.

Сартр привёл нас ко Христу из «Легенды о великом инквизиторе» Достоевского, к великой трагедии

христианства, ведь человек должен стать другом Спасителя, чтобы обожиться. Так говорят и Святые Отцы: Бог стал человеком, чтобы человек стал богом.

Сартр пишет: «Человек лишён сущности». Он отличается от камня или капусты только тем, что он не запрограммирован. О, с какой радостью мы сбрасывали с себя эти роли, которые навязало нам общество, система, наши страхи и иллюзии. С какой радостью очищали мы свой дух и души от мёртвых стереотипов и идеологии! Внутри нас самих мы готовили пространство свободы, которое могло бы вместить Его. Ибо только Он мог заполнить самые тёмные глубины и пропасти, поскольку Он сам знал ад и победил Его.

Мне кажется, что я опережаю саму себя.

Для меня, последовательной и решительной экзистенциалистки, христианства вообще не существовало. Зачем возвращаться к старым мифам? Но в моей обыденной жизни всё росло стремление к самовозвеличиванию и саморазрушению. Вслед за Ницше я считала себя духовным аристократом, сильным человеком, способным одной своей волей направить собственную жизнь и жизнь других. Я полагала, что обычные, слабые люди не могли противостоять вызову Ничто и бежали в бессмысленность бытия: кто-то в семью, кто-то в политику, кто-то делал карьеру. О, как я их всех ненавидела! Как я умела манипулировать людьми, и с особой язвительностью делала вывод, что как мужчины, так и женщины — все любят рабство, даже ищут его.

Я перестала лгать

В то время я уже стремилась к тому, чтобы моя жизнь была осмысленной. Я чувствовала себя философом (любящим мудрость) и перестала лгать другим и самой себе. Высшей ценностью для меня стала истина, какой бы горькой, жуткой и убийственной она ни была. Но моё существование оставалось разорванным и полным противоречий. Мне нравились контрасты и абсурд жизни, все её нелепости. С другой стороны, я любила поверхностный эстетизм: например, мне нравилось быть блестящей студенткой, общаться с изысканными интеллектуалами, выступать на научных конференциях, быть постоянно ироничной и гордиться своим перфекционизмом. А вечером же и ночью я была своей среди сомнительных маргиналов, вела дружбу с отбросами общества — ворами, «шизофрениками», наркоманами. Мне нравилась сама грязь этой среды. Мы выпивали в подвалах и на чердаках. Иногда мы взламывали чужую квартиру лишь для того, чтобы выпить там чашечку кофе и тихо уйти.

И лишь один человек попытался поставить меня на место. Это был профессор философии Б.М. Теперь он эмигрировал и живёт в Америке. Однажды он сказал мне: «Таня, почему Вы пытаетесь всё разрушить вокруг себя? Разве Вы не осознаёте, что страсть к разрушению всегда была бедой русской мысли? Разве Вы не видите, что мы живём в мире, где нигилизм победил полностью и окончательно? Сходите хотя бы однажды на советский рынок. Вы найдёте там пустые полки. Нет ничего, что должно было бы быть на рынке. Но кругом развешаны красные

полотнища, где написано: „Вперёд к победе коммунизма“ или „Шаг вперёд — два шага назад. Ленин“, и т. д. Вот Ваш обожаемый абсурд. Большевики уже давно всё разрушили, что Вы можете ещё добавить?»

Слова профессора произвели на меня сильное впечатление, но ни я, ни он не знали, как выйти из этого дьявольского круга и начать жить созиданием, а не разрушением. Меня не спасло и моё последующее увлечение восточной философией. В то время я открыла йогу. Йога приблизила меня, как казалось, к миру Абсолюта, мне открылось вертикальное измерение бытия. Оно разрушило моё интеллектуальное высокомерие. Но йога не могла освободить меня от самой себя. Я больше не жила страстью к познанию нового, любовью к культуре и постоянной рефлексией. Я знала теперь, что в человеке заложены неисчерпаемые силы и скрыты жуткие бездны. Я училась работать с открытыми для себя энергиями. Йога была путём к комфортному «энергетизму», то есть материализму, в ней не было ничего придуманного и сказочного. Поэтому для нас, неверующих, йога часто становилась мостиком, соединявшим эмпирический и трансцендентные миры. В ней было что-то от привлекательности научного, объективного познания: с помощью упражнений, с использованием «астральных» и «ментальных» сил мы думали, что достигнем сверхчеловеческого уровня. Для чего и зачем? На этот вопрос каждый отвечал так, как ему хотелось. Я хотела стать богом, «реализоваться». Хотела всего того, чего добивалась и раньше: быть самой умной и самой сильной. К этому прибавлялся ещё и религиозный восторг. Жаждала растворения в Абсолюте и обретения

вечного блаженства. Я, конечно, должна была бороться с негативными чувствами — с ненавистью и раздражительностью, ведь я знала, что они «воруют энергию» и отбрасывают меня на нижнюю ступень бытия. Но внутренняя пустота никуда не исчезала. Она даже росла, превращаясь во что-то мистическое и жуткое, пугая сумасшествием. Я впала окончательно в депрессию. Меня мучили непонятные, холодные, бессильные страхи. Мне казалось, что я схожу с ума. Жить совсем не хотелось.

Сколь много друзей стали жертвой этой пустоты. Погибли от алкоголя, навсегда попали в психушки. Нам всем казалось, что всё безнадежно.

Второе и истинное рождение

Но Дух Святой «дышит, где хочет». Он даёт жизнь и воскрешает мёртвых. Что же произошло со мною? Я заново родилась. Да, это было второе, настоящее рождение.

Но всё по порядку.

Устало и безрадостно произносила я обычные мантры. До этого момента я ещё ни разу не произнесла ни одной молитвы. Да я и не знала молитв. Но вот в одной из самиздатских книжек по йоге я нашла молитву. Это была молитва «Отче наш». Как раз та молитва, которую заповедовал нам сам Господь Иисус Христос! Я стала произносить её по типу мантры. Без всякого выражения и чисто автоматически. Я произнесла её раз шесть, и вдруг — случилось нечто совершенно неожиданное. Я поняла — не своим смешным рассудком,

но всем своим существом, что Он существует. Живой, личностный Бог, любящий меня, как и любую тварь, создавший этот мир, из любви ставший человеком, Бог распятый и воскресший.

В это мгновение я прикоснулась к тайне христианства, к тайне новой, настоящей жизни. Вот реальное, истинное спасение! В ту же секунду всё во мне изменилось. Умер «ветхий Адам», исчезли не только прежние ценности и идеалы, но и старые привычки. Открылось сердце. Я начала любить людей. Я поняла, как они страдают, но мне открылась и высокая миссия человека — его богоподобие. Все люди казались мне чудесными небожителями, и я страстно желала творить добро, служить людям и Богу.

Какая радость, какой свет царили в моём сердце. Но не только моя внутренняя жизнь, а любой камешек, любой листик озарились радостным светом. Весь мир предстал передо мной в царских, священнических одеждах Господа. Как я могла раньше не замечать всего этого?

Так началась моя жизнь. Моё спасение было конкретным и реальным. Было неожиданным и всё же давно взыскуемым, и лишь Святой Дух мог свершить его, ибо Он «творит всё новое».

Тайна примирения

Огромный, холодный и торжественно белеющий храм. Шесть часов утра. Скоро начнётся литургия. В левом пределе большая и разношёрстная толпа паломников. Много женщин, одетых в простые, бедные одежды, в платках по самые брови. Некоторые приехали совсем издалека — есть здесь паломницы из Украины, Казахстана, далёкой Сибири. Месяцами и годами готовились эти женщины к поездке в монастырь, к источнику Божьей Матери: копили деньги, молились, выжидали, пока тяжёлая, загруженная заботами жизнь предоставит возможность осуществить самое заветное и глубокое желание их души — поездку в монастырь, к святым местам, прозорливым старцам, к чудесным мощам.

Месяцами и годами не исповедовались они, не причащались — трудно у нас с этим: церковью мало осталось сегодня на огромных просторах Руси, а священников и того меньше. Есть здесь и мужчины — тоже из простого народа, с лицами, какие в городах редко встретишь, а в деревнях же русских, в глубинке, ещё не истёрся такой тип лица — как бы явившегося с картины русского художника XIX века. Вот эти-то люди, одетые в лохмотья и застывшие сейчас с покаянно опущенными головами перед священником, готовящим их к исповеди, и заставили меня

произнести впервые в жизни всерьёз и с уважением слово, затасканное всеми демагогами мира, — народ. Только здесь, в церкви, я увидела, что такое народ. Народ может быть народом только в Боге. И тогда же окончательно ясно стало мне, что я теперь не одна, что и я — народ. Потому что эти незнакомые люди были мне роднее всех людей на земле.

Отец Гермоген говорил суровые слова о грехе. Все собравшиеся к исповеди бесшумно плакали, только один мужчина не мог сдержать своих громких рыданий и его сокрушения были слышны во всём храме. Был этот паломник одет в совсем ветхие тряпки, правой руки у него не было, да и левая была отрублена до локтя, оставшимся обрубок левой руки он всё-таки по-своему совершал крестное знамение, часто и неистово крестился.

Я пришла на первую исповедь в своей жизни. Совсем недавно по милости Божией я стала христианкой. Знаний у меня ни о христианстве, ни о Церкви почти никаких не было — да и кто мог обучить? Я и такие же, как и я, друзья, друзья-новообращенцы, учились всему исподволь, подражая нашим старушкам, ревниво оберегающим православное благочестие. Знаний у нас не было, но было то, что нужно ценить в наше время больше, чем знания: бесконечное доверие церкви, вера в каждое её слово, в каждое движение и требование. Ещё вчера все мы не признавали никаких авторитетов и норм, сегодня мы приняли это чудом пришедшее к нам спасение — нашу церковь — как безусловную, абсолютную истину и в мелочах, и в главном. Бог обратил нас и даровал нам детство — не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное.

Я знала, что нужно исповедоваться и причащаться, знала, что и исповедь, и причастие — великие таинства, примиряющие нас с Господом и даже соединяющие с ним, соединяющие реально, во всей полноте — и физически, и духовно. Крещена я была уже в детстве своими неверующими родителями. То ли они по традиции это сделали, то ли кто-то их уговорил — так я и не поняла их объяснения. Теперь в 26 лет мне суждено обновить благодать крещения.

Я знала, что сам священник — знаменитый исповедник отец Гермоген — будет задавать мне вопросы и вести исповедь. Читая накануне маленькую книжечку для подготовки к исповеди, я обнаружила, что нарушила все ветхозаветные и новозаветные заповеди. Да и без чтения этой подготовительной литературы мне было ясно, что вся моя жизнь была наполнена разнообразными безобразиями, преступлениями и извращениями. Они сейчас, после обращения, преследовали и угнетали меня, были тяжёлым грузом на душе. И как я могла раньше не видеть, насколько безобразен, глуп, монотонен и бесплоден грех! Какая-то повязка с самого детства была на глазах. Я стремилась к исповеди, потому что всем нутром своим ощущала, что получу освобождение, что тот новый человек, которого я недавно открыла в себе, полностью победит и изгонит старого. Чувствовала я себя с той самой минуты своего обращения внутренне исцелённой и обновлённой, но как бы покрытой крепко приросшей ко мне и затверделой корой греха. Потому и стремилась к исповеди, как к омовению, вспоминая чудные слова недавно выученного наизусть псалма:

«Окропиши мя иссопом и очищуся, омыеши мя и паче снега убелюся».

И вот пришла моя очередь. Я подхожу, целую Евангелие и крест. Конечно, я испытываю внутренний ужас и стеснённость, боюсь сказать, что я первый раз исповедуюсь. Отец Гермоген начал с вопросов.

— Какие праздники пропустила, не ходила в церковь?

— Все, — отвечаю я.

Тут отец Гермоген понимает, что имеет дело с одним из неофитов, которые появились в большом количестве в русской церкви в самое последнее время, и к которым нужен совсем другой подход. Он начинает спрашивать о самых страшных, о главных грехах моей жизни, и мне приходится рассказать всю свою биографию: жизнь, построенная на гордыне и тщеславии, высокомерном презрении к людям и жажде общения с ними. Рассказываю о пьянстве и блуде, неудачных браках, об абортах и неспособности никого полюбить. Рассказываю и о следующем периоде своей жизни: о занятии йогой и желании реализоваться, стать Богом без любви, без покаяния. Говорю долго, хоть и с трудом. Мешает стыд, душат слёзы. Сама в конце прошу: «Хочу пострадать за все свои грехи, очиститься хоть немного. Дайте эпитимию, пожалуйста!»

Отец Гермоген внимательно слушал меня, почти не перебивая. Потом глубоко вздохнул, говорит: «Да, тяжёлые грехи». Эпитимию я, по милости Божией, получила, как мне казалось, совсем лёгкую: пять раз в день на протяжении нескольких лет молиться «Богородица, Дева, радуйся!» с одним земным поклоном. Эта эпитимия была мне большой поддержкой все последующие годы.

Грехи наши (жизнь моих друзей-неофитов походила на мою собственную) казались нам чем-то совершенно чудовищным, поэтому трудно было поверить, что так просто, одним махом руки священника они могут исчезнуть. Но у нас уже был опыт чуда: каждый из нас пришёл из небытия бессмысленного и граничащего с отчаянием существования в дом Отца — в Церковь, которая была нам раем. Мы знали, что для Бога всё возможно. Это помогало верить в то, что исповедь уничтожает грех. Да и старцы говорили: «Не вспоминайте больше. Исповедовались — и хватит. Вспоминая, вы только заново грешите».

С первой исповедью у моих друзей были и случаи почти комические. Молодая женщина Лариса, художник и актриса, исповедовалась впервые у одного очень строгого монаха.

Очередь на исповедь была большая, толпа пожилых женщин заполняла храм до отказа, так что исповедь — при громком голосе монаха — была слышна. Монах стал обращаться к Ларисе с вопросами, типичными для сегодняшней исповеди в России:

— Колдовала? — был первый громко произнесённый вопрос (в России многие занимаются и разного вида магиями, — сказывается недостаточность христианского просвещения, незнание Евангелия).

— Колдовала! — отвечает моя подруга, которая занималась в своё время спиритическими сеансами.

— Воровала?

— Воровала! — отвечает Лариса, вспоминая, что ещё ребёнком украла банку с вареньем у тёти.

— Убивала? — третий грозный вопрос монаха.

И совсем сжавшись Лариса отвечает:

— Убивала! (Аборты — страшный бич перегруженной работой русской женщины в наше время.)

Старушки вокруг закачали головами, слышались удивлённые вздохи. Смутился даже старый монах.

— Ну ты бы хоть сдерживалась, дочь моя.

В первый раз, наверное, пришлось ему столкнуться с человеком новообращённым, и не угадал он, кто стоит перед ним.

Всё это происходило 10 лет тому назад, когда ещё только начинался процесс, получивший ныне название русское религиозное возрождение. За эти годы Господь послал России пастырей, осмелившихся посвятить себя молодёжи. Ясно, что их путь — путь мученичества с самого начала. Власти никого так не боятся, как неофитов — новых людей, пришедших в церковь. Образованные и полные жизненных сил, они не просто на словах отрицают всякий «советский образ жизни», а создают собственный, реальный, прекрасный и справедливый мир, преображают землю силой веры и любви.

Многие русские священники от всей души радуются, что «камни заговорили», что поколения неверующих и атеистов пришли сегодня в церковь. Но не все могут позволить себе оказаться на «высоте времени», взять крест духовного водительства этой молодёжью. И всё же десятки пастырей посвятили себя неофитам. Они стали нашими любящими и мудрыми наставниками. В России духовничество и исповедничество никогда не отделялись друг от друга, поэтому часто наши исповедники становились и нашими духовниками, а действие Святого Духа чувствовалось особо в том, что простые, порой молодые, священники превращались в настоящих духовных руководителей, становились старцами.

С каждым из нас духовник поступал по-разному, чувствовал тайну каждого человека и особый Божий замысел о нём. Он был искусным лекарем наших душ, и результаты этого лечения мы могли обнаружить только спустя несколько лет. Вспоминается случай с Евгением, который увлёкся «христианским философствованием», изобретя очень неоригинальную теорию по поводу христианской свободы. Можно обобщить её в следующих словах, перевернув знаменитое изречение Достоевского: «Бог есть — всё дозволено». При этом Евгений ссылался на некоторые места послания к Галатам и к Римлянам апостола Павла. Жизнь у него расходилась с теорией — его донжуанский список рос день за днём, обиженные и оставленные женщины приходили жаловаться к друзьям Евгения, в том числе и ко мне. Они говорили: ведь он же в Бога верует, как он может так себя вести? Я тогда подумала, что может быть наш общий с Евгением духовник отец Александр не знает ничего о Евгении, потому что Евгений часто исповедуется ему, но никогда о своих похождениях не рассказывает, а духовник об этом не спрашивает. Однажды я прямо спросила отца Александра, знает ли он об этой тёмной стороне жизни Евгения? Батюшка, конечно же, обо всём знал. Он ответил мне так: «Евгений — очень больной человек. И болезнь его лежит глубже, чем весь этот видимый блуд. С ним нужно долго работать». Прошло два года. Евгений теперь женат, он счастлив и постоянно в письмах ко мне благодарит Бога за великое чудо любви, которое ему открылось в браке. Всё своё прошлое он вспоминает с глубоким покаянием.

Случай с Евгением типичный. Исповедь — великое таинство и великое искусство, и Господь посылает своей церкви настоящих лекарей, священников, гениальных в своём творчестве. Многие из наших священников-исповедников — совсем простые полуграмотные деревенские батюшки, но они безошибочно видят нутро человека, потому что в совершенстве владеют нужнейшим из всех искусств — искусством различения духов.

Да, русские священники почувствовали знамение времени и оказались на высоте поставленных перед церковью задач. Выявились даже особо искусные среди них — те, кто как бы предназначен выслушивать грехи нашего безбожного времени и улавливать именно этих новых демонов нигилизма. Но никогда церковь не шла путём послабления, никогда не слышала я, чтобы в русской православной церкви смягчались нравственные требования, предъявляемые к человеку, только потому, что мы живём в век «переоценки ценностей», сексуальной революции и т. д. Нам, неопитам, было тяжело принять эту новую жизнь во всей её полноте — мы не привыкли ни к посту, ни к регулярной молитве, ни к постоянному покаянию и обвинению не других, а прежде всего себя, в случае всевозможных невзгод. Но всему этому мы постепенно обучались, чувствуя во всём поддержку Бога и церкви. В то же время нам очень нравилось, что церковь проповедует истины, данные Богом раз и навсегда, что не подвержены заповеди Божьи суетным изменениям, которые приносит с собой время. Нравился максимализм христианской проповеди: стоило жить только ради этих вещей, за которые хотелось и можно было умереть.

Мы научились быть беспощадными в отношении своих грехов, уничтожать самый корень нечистоты. Было трудно, например, называть свободные отношения с любимым человеком блудом (чем они и были), хотелось оправдываться: какой же это грех, ведь мы любим друг друга. А христианство, несмотря на этот выдавший всякие виды XX век, зовёт к выбору и совершенству: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». И в этом совершенстве участвует не только душа, но и тело, каждый вздох, каждое движение, которое должно быть посвящено Богу.

Высота требований в православии сочетается с его необыкновенной гибкостью и снисхождением к человеку. Как разрешить эту антиномию? Только через любовь — конкретную, мудрую, не ищущую своей выгоды. Таковую любовь мы находим у наших пастырей, наделённых благодатью даровать нам свободу. Они освободили нас от тяжкого «кармического» гнёта нашего прошлого, совершили то, о чём не смели мечтать люди нехристианской или псевдохристианской культуры. Сколько написано в различных философиях о том, что невозможно повернуть время вспять, невозможно владеть тем, «что было». Этим вопросом мучились Ницше, Хайдеггер и Пруст, мучились и другие глубочайшие художники, их неверие делает их рабами однажды свершившегося, они не знают, что и они — дети Бога, что и в их жизни может произойти чудо. Помолимся, братия и сестры, за тех, кто ещё не знает, что такое величайшая Тайна Всепрощения, чтобы Бог уязвил и их своей любовью, как некогда уязвил он всех нас.

Глава четвёртая

Отец Александр

Приехав на Запад, я поняла, что кризис веры здесь во многом зависит от того, что нет, или почти нет, настоящих духовников — священников, которые были бы истинными целителями и наставниками, которые обладали бы подлинным духовным авторитетом и могли бы произносить «да» или «нет», как власть имеющие. Какой разительный контраст с сегодняшней Россией! Там звание священника поднято на недостижимую высоту.

Много-много в России батюшек и в больших городах, и в провинции, заботливо, любовно, добро-совестно опекающих свою паству, не дающих обществу окончательно озвереть. Все они бесконечно любимы нашим народом. Верующие относятся к своим пастырям с благоговением, и от атеистов, которые уже перестали быть воинствующими, всё чаще можно услышать слова уважения, когда речь идёт о священнике.

После отречения отца Дмитрия Дудко и выступления его по телевизору, мне случайно удалось услышать разговор двух рабочих за кружкой пива. «Ты видел вчера телевизор? — спрашивал один другого. — Там один тип раскалывался. А ещё священник?!»

Всю жизнь любившие и благотворившие свободу неофиты-интеллигенты не в меньшей степени,

чем простой народ, признают именно авторитет священников. Многие ездят, чтобы исповедаться и услышать мудрый совет в русские монастыри к старцам. Так, в XIX веке писатели Гоголь и Достоевский, философы Кириевский и Леонтьев ездили к старцам. В то время особо знаменитыми были старцы Оптиной пустыни. Но ещё век тому назад русская интеллигенция, за редким исключением, была настроена позитивистски и материалистически. Теперь же увлечение духовной проблематикой стало всеобщим. К старцам Печёрского монастыря и Спасо-Преображенской пустыни под Ригой едут тысячи и тысячи молодых мыслящих людей.

Старцы в монастырях — это лучшие в России духовники. Но есть и священники на приходах, наделённые этим даром: освободить людей от власти греха, лепить их до полноты образа Божьего. Не у всех верующих есть духовник — не хватает священников, но все православные стремятся иметь духовника.

Шесть лет тому назад мы нашли своего духовника — отца Александра. Это произошло неожиданно для нас, хотя мы долго искали священника, который мог бы руководить нашей духовной жизнью. Батюшки, видя, что молодёжь идёт в церковь, радовались, но одновременно боялись нас. Известно, чем кончается жизнь священника, окруженного молодёжью. Вначале (как это было с отцом Дмитрием Дудко) священника высылают куда-нибудь в деревню, подальше от города. Обычно эта мера не помогает. По субботам и воскресеньям толпы молодых людей добираются к своему пастырю, не пугаясь

ни трясущихся переполненных автобусов, ни непролазной грязи сельских дорог. Если священник не боится угроз, предупреждений, интриг и доносов, если он продолжает быть настоящим пастырем, «полагающим душу свою за други своя», к нему применяют последнюю меру наказания — арест. А дальше — долгие годы тюрьмы, оставшиеся без средств к существованию жена и дети, чаша страдания, испытанная в полной мере. Нужна особая благодать Божья, чтобы священник решился встать на путь мученичества. Поэтому мы не искушались их «боязливостью», мы понимали, что сами не заслужили иметь духовника. И всё-таки Бог не оставил нас и здесь.

Помню тот вечер, когда мы нашли духовника. Церковь была переполнена народом, было столь тесно, что думалось, сейчас раздавят, затопчут. Горячим и торжественным пламенем полыхали гряды свечей, а через спину от свечного ящика всё ещё передавали новые свечки — Николаю Угоднику, Царице Небесной, на амвон, Спасителю, Всех скорбящих радостей, к Празднику. И несмотря на суету, давку и жар, церковная молитва была необыкновенно сильной, и ликование, и открытость, и принятие чуда были настоящими.

Священник вышел и стоял среди народа лицом к алтарю. Он был одет в сияющие серебряные одежды и походил на ангела, сошедшего на землю. Потом началось елеопомазание: народ потихоньку подходил к священнику, держащему в одной руке кисточку, которую он мокал в елей, и чертил затем крестное знамение на лбу подходящего, произнося тихо: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», и добавлял потом, когда молящиеся целовали его руку: «С праздником!»

Сверкающие его одежды говорили о Преображении, но я заметила, что и лохмотья, в которые были одеты многие незаметные старушки, не мешали ощущению царственного торжественного пира. Во всём была разлита красота, равной которой нет в мире. Лицо священника было молодым, излучало благородство и любовь.

Когда я и ещё двое моих друзей друг за другом подошли под благословение, священник сказал нам: «Подойдите ко мне после службы». После службы он предложил нам стать нашим духовником. Первое мгновения я растерялась: как, почему, откуда? А вдруг как провокация? Специально подослали? Да и почему он, не зная нас как следует (отец Александр знал о нас от своего псаломщика, бывшего богемного поэта Бориса Куприянова), предлагает такие серьёзные вещи. И ещё: как может он, простой, полуобразованный священник, брать на себя руководства над нами, людьми столь сложной интеллектуальной жизни. Все эти сомнения пронеслись в моей голове, как вихрь, за одну секунду. В следующее мгновение я уже (движимая неизвестно какой силой) ответила: «Я согласна». Два моих друга тоже приняли предложение отца Александра.

В тот же вечер в беседе с отцом Александром я поняла, что такое священник. Я увидела человека, который был способен повернуться к другому всей своей личностью, всей своей душой. Я встретила человека, которого интересовала именно я сама, а не мои «роли в жизни», даже не мои представления о жизни, а моё конкретное «я», которое я всегда прятала, потому что думала, что оно не интересно никому.

Мы привыкли в наших интеллигентских разговорах критически отзываться не только о книгах

и событиях, но и о многих людях. Отец Александр, напротив, никогда никого не осуждал, даже ни о ком не говорил равнодушно. Всегда обо всех говорил, как о собственных детях, только без сентиментальности и присущего физическим родителям ослепления. Он не был интеллектуалом, но безошибочно указывал нашим поэтам, где в стихотворении лишнее многообразие, кокетство или неискренность. Я быстро поняла, что он умел различать духов. По одной маленькой детали, по какой-нибудь неверной интонации безошибочно восстанавливал всю болезнь. Он терпеливо лечил нас. Лечил тихо, почти незаметно.

Как-то во времена Хрущёва отца Александра вызвали в КГБ и предложили отказаться от священства (в то время жутких и кровавых гонений так отказалось немало священников). Ему сказали: посмотрите, ведь в церкви стоят одни старушки, они скоро умрут, и ваша профессия станет ненужной. Отец Александр тогда остался твёрдым, и вдруг через десять лет пошла молодёжь. Интеллигенция, поэты, писатели, учёные и философы — никто не смог бы поверить, что так будет когда-то.

Отец Александр любил людей талантливых, он требовал, чтобы поэты продолжали творить «во Славу Божию», чтобы все мы не закапывали свои таланты в землю. Он любил интеллигенцию и был как бы создан для того, чтобы постепенно освобождать нас от всего лишнего, мешающего, греховного. Перед ним были люди, заражённые манией величия, непризнанные гении, болезненно тщеславные и раздвоенные. Любящие, чтобы их любили, и не умевшие любить сами. Любить такую интеллигенцию труднее, чем любить врагов своих, сказал как-то

мой итальянский друг. Комплексы величия и неполноценности, всё мрачное, невротическое в человеке рассасывалось, по мере его вхождения в жизнь Церкви, по мере его взросления.

Очень часто на исповеди отец Александр, услышав что-то важное, напрягал лицо, задумчиво молчал, потом говорил: «Я должен помолиться, потом с матушкой посоветуюсь, приходи в следующий раз, тогда всё скажу». Он никогда не торопился с исправлением человека. Были среди нас и такие неопфиты, которые говорили: «Отец Александр слишком добрый, он всё разрешает». Понятно, что молодые люди, которые только что уверовали в Бога, стремились радикально и окончательно переменить свою жизнь. Мучимые прошлыми грехами, падениями, преступлениями, они жаждали быстрого очищения через страдания, через тяжёлую и настоящую эпитимию. В этой жажде была, конечно, та горячая вера, без которой христианство может выродиться в безразличную, секуляризированную идеологию. Но была и опасность — нетерпение сердца, неспособность долго и постепенно работать над собой, экзальтация и страстность. Давал о себе знать и русский «обломовский характер» — русский человек готов умереть за любую идею, но только так, чтобы при этом не двигаться с места. Отец Александр, как настоящий священник и духовник, знал всё это и действовал очень осторожно. Часто почти незаметно для нас. Но постепенно он становился всё требовательнее, обращал внимание на каждую неверную деталь, на ложную интонацию, жест или взгляд.

Больше всего он боролся с нашей гордыней. Однажды, например, узнав, что я проспорила с двумя

верующими, но не церковными людьми весь вечер, он сказал: «Помни, ты не имеешь право спорить, ты можешь только давать советы. Если эти люди окончательно отойдут от церкви — это будет твоя вина».

Помогал он мне также избавиться от ложной жалости. У меня была знакомая, одинокая и беспокойная женщина, необыкновенно болтливая и эгоцентричная. Она долгие часы сидела около меня и говорила, пока я совсем не лишалась сил. Я не находила в себе твёрдости прервать её, как-то строго поговорить с ней. Сказала об этом батюшке. Его ответ был таков: ты можешь общаться с кем хочешь, но только не до самоубийства. Самоубийство — это уже грех. Вспомни, как вёл себя добрый самаритянин: он поднял человека, перевязал его раны, снял ему место в гостинице и пошёл своей дорогой. Так и ты должна поступить в этом случае: помоги человеку, сколько в твоих силах, и иди своей дорогой, а то, смотри, болезни этого человека окажутся сильнее вас обоих.

Святой Дух достраивает человека до его целого. После общения с духовником каждый из нас менялся. Легко можно было заметить, что тот, кто раньше, например, был резким и скованным, становился после этого общения открытым и мягким, тот же, кто был разболтан, обретал собранность. Человек научался мере. Невольно он становился красивым. К этому и были направлены усилия отца Александра — сотворить из нас, хаотичных и неоформленных, совершенную икону Бога, помочь нам стать личностями.

Первая любовь

Духовный голод

Читаю молитвослов в ленинградском метро. Слева от меня сосед, с жадностью и любопытством читающий вслед за мной. Двое молодых людей, сидящих напротив, разглядели обложку «Православного молитвослова», оживлённо переговариваются, шепчутся. Моя остановка — я выхожу из вагона. Вслед за мной выбегают эти двое.

— Скажите, где можно достать такую книгу? Мы любые деньги отдадим!

Что сказать им? И Евангелие трудно достать, молитвослов же — почти невозможно. Описанная сцена уже не редкость в России наших дней.

Духовный голод не объясним ни оппозиционными настроениями, ни усталостью от каждодневной идеологической жвачки, ни поиском чего-то нового. Жажда жить в Боге, жажда слова Божьего — явление необъяснимое «человеческим, слишком человеческим». Не укладывается христианское возрождение в какие-либо политические, социальные или психологические рамки.

За слово о Боге люди рискуют потерять всё — работу, семью, свободу и саму жизнь. Сколько христиан уже брошено в лагеря и психиатрические

больницы за то, что они пытались удовлетворить эту жажду путём самиздата — Александр Огородников, Зоя Крахмальникова, Ниёле Садунайте... Можно назвать сотни имён. Их много, готовых вступить на путь жертвы, чувствующих актуальность евангельских слов: «Жатва готова, а делателей мало».

И как благодарны христиане в современной России тем, кто привозит им книги с Запада: Библию, труды Святых Отцов, религиозных философов. Святых Отцов читают в современной России с таким увлечением, как никакую другую литературу. Ни архаичность языка, ни давность проблем и споров (это даже не замечается) не могут охладить любви к чтению. Святые Отцы, писавшие более тысячи лет тому назад, близки нам, русским христианам, более, чем большинство наших современников.

А религиозная философия! Бердяев, Флоренский, Лосский, Булгаков, Розанов, Франк — книги этих авторов создают атмосферу культурной и духовной жизни. Русская интеллигенция, которая была почти полностью уничтожена, обретает свою историческую и культурную память. В сегодняшней России быть человеком культурным означает быть церковным. Множество кружков, даже целые религиозно-философские школы и направления существуют в Москве, Ленинграде, Минске, Смоленске, Воронеже — последователи о. Павла Флоренского, розановцы, карсавинцы, бердяевцы.

Мне самой, открывшей главную книгу жизни — Евангелие — только в двадцать шесть лет, хотелось бы поблагодарить всех, кто не забывает своих братьев в России, кто помогает им приобщиться к спасительному источнику Правды и Любви.

Покаяние интеллигенции

Особо важную роль в борьбе с матерью всех грехов — гордыней — играет покаяние. Как известно, интеллигенция наиболее заражена гордыней. Она буквально поработощена представлением о собственной гениальности и превосходстве. Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Интеллигенция же богата тем, от чего трудно отказаться: способностями, знаниями, талантами. Кроме всего прочего, интеллигенция отравлена культом всеобъемлющей ренессансной личности. Для интеллигента труднее обрести узкий путь креста, но, несмотря ни на что, это происходит! В первый раз за свою историю русская интеллигенция в таком большом количестве идёт в церковь так искренне, так серьёзно.

Интересно, но жажда покаяния в сегодняшней России столь сильна, что она порой оборачивается нигилистическим саморазрушением. Многие не только оставляют свой пост и карьеру, но отворачиваются от культуры, от книг, от любого соприкосновения с миром.

Владимир И., некогда многообещающий логик, гордость университета, ушёл со всех постов, оставив записку: «Ухожу по причине болезни». Он оставил кафедру и поступил на низкооплачиваемую работу лифтьером. (Половина нашего семинара работала операторами по лифтам.) Но он не посещает как наш семинар, так и все остальные. Свою библиотеку он раздарил знакомым. На стенах его квартиры висят только иконы.

Пример с Виктором М. Он был блестящим архитектором и писателем. Теперь он полностью

исчез из общественной жизни. Поговаривают, что он с женой уехал в далёкую деревню. Работает там сторожем в церкви и с отвращением говорит о своём «языческом» прошлом.

Христианство без радикализма оборачивается утилитаризмом, но есть и другая крайность — это ненависть к любой Божьей твари. Нередко мы встречаем верующих, живущих ненавистью к дьяволу больше, чем любовью к Богу. Они встречаются как среди простого народа, так и среди неопитов-интеллектуалов. Но здесь необходимо сказать, что наши духовники и старцы очень редко благословляют на радикальный разрыв с миром. Они призывают прежде всего к преобразованию мира.

Как-то в нашу церковь пришла паломница с Украины. Удивилась, что у нас стоят молодые люди. Ещё более удивилась тому, что наши родители — атеисты. Она расплакалась, потому что у неё все дети неверующие, и сказала: «Помолитесь хоть раз о нас. Ваша молитва идёт прямо к Богу».

Целый айсберг должен растаять

Во время своей проповеди Христос должен был преобразить простых рыбаков. Чтобы проникнуть в душу современного человека, необходимо растопить целый айсберг: христианин должен заново пережить историю, политику, победить банализацию жизни, падение морали, эстетизм, революцию — так много накопилось человечеством за эти две тысячи лет. Необходимо вернуться к ясным и высоким заповедям Блаженства: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

То, что вчера ещё было невообразимым, свершается сегодня в России: Евангелие и Святые Отцы занимают вершину айсберга, их опять читают. И для нас это необыкновенно актуальное, интенсивное, необходимое чтение. Сегодня в России пришло время, когда, можно сказать, открылась истина: Христос — это жизнь.

Часто советский человек описывает своё существование примерно такими словами: «Выходишь на улицу, всё кажется неплохо — сияет солнышко, щебечут птицы, а жизни — нет».

Самых счастливых и весёлых людей я видела в русских монастырях. Атеизм исчез, как исчезает смерть. Я вспоминаю сельского священника, очень скромного человека, вылечившего своей молитвой немало людей. Он рассказывал о таком случае. Однажды к нему пришёл смертельно больной мужчина. У него был рак. Отец Василий спросил его: «Ты веришь в Бога?» Больной ответил: «Нет». Тогда о. Василий просто спросил: «Хочешь ли ты жить?» Больной с радостью ответил: «Да». И этого человека батюшка исцелил, ведь всякая жажда жизни исходит от Святого Духа, жизнеподателя.

* * *

Советская жизнь не всегда наполнена равнодушным атеизмом. Часто она предопределена анонимной, бесчеловечной и мстительной судьбой. Однажды я провела опрос среди студентов. Никто не ответил мне, что верует в Бога, но многие сказали, что верят судьбе. Нигде в мире не придают такого значения приметам. Многие занимаются своими гороскопами, повсюду развешаны объявления о прорицательницах, колдунах, предсказателях.

На общество как бы наброшена сеть из страха, недоверия к себе и неверия в возможность изменить собственную жизнь. Это порабощение тёмными силами заставляет обращаться к последнему средству — магии. Когда-то и многие из моих друзей жили верой в судьбу. Но христианство освободило их. И вместо судьбы возник Крест. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия» (1 Кор. 1: 18). Судьба закрепощает человека, превращает его в вечного должника. Человек боится радоваться. Крест же парадоксальным образом освобождает. Крест говорит о бесконечности Божественной любви и о том, что человек может изменить даже решение Бога: как Бог пощадил Ниневию, так Он может пощадить каждого из нас. Крест говорит о том, что молитва может всё. Моё обращение вернуло меня в детство.

Благодать беззащитности

Раньше я, как и многие другие, жила страстями: страстью к знаниям, к книгам, к общению с друзьями. Я постоянно боялась терять время попусту. Но время уносилось с дьявольской скоростью, подобно сумасшедшему локомотиву, за окнами которого невозможно разглядеть пейзаж. Память не ценила и не задерживала впечатления. В 25 лет я чувствовала себя старой женщиной. Мне казалось, что я всё уже попробовала и всё узнала. Тут и случилось моё обращение. Ясно, что Бог изменил не только мой расклад, но и коснулся души, сердца и даже чувственного мира. Я вернулась в прекрасные мгновения

детства. Душа очистилась, стала беззлобной и открытой. Она могла вновь удивляться, как будто сбросила с себя тяжёлый панцирь. Мир по-новому улыбается мне, смотрит непосредственно, не наносит раны, даёт радость. Странно, я совсем не помню, какой была ещё несколько месяцев тому назад, когда была «взрослой». Как будто бы нарост спал с души. Исчезли все защитные механизмы, которыми я оборонялась от людей. Как годовые кольца растила я вокруг своего «я» ледяные стены: иронию, самодовольство, снобизм, равнодушие. Я разделяла людей в согласии со строгой иерархией: мне равных — называла элитой, всех остальных — плебсом. Всё это исчезло. Но как мне хорошо! Не было и дня, чтобы я не чувствовала отсутствие или молчание Бога. Как говорят наши батюшки, это Божий дар для новообращённых — дар благодати, так любят совсем маленьких, беспомощных детей.

Испытание сильных

Я уже слышала о совершенно другом. Мать Онуфрия рассказывала мне, что в день её пострига она проснулась не только с чувством богооставленности, но и с холодом в душе. Она поняла, что вся её вера — чистый обман, что никакого Бога нет и никогда не было. Мать Онуфрия — в прошлом пламенная христианка — после пострига почувствовала себя атеисткой. Это состояние богооставленности длилось несколько лет. Бога не было, мир без Бога превратился в тёмную, глухую пещеру. Мать Онуфрия рассказала обо всём старцу. Старец объяснил

ей, что такое испытание посылается особо избранным и любимым детям. Господь хочет, чтобы человек сам сделал шаг в пустоту, чтобы его свобода не была ограниченной. Ясно, что Божественная благодать служит нам опорой и, следовательно, является ограничением нашей свободы. Господь хочет, чтобы мы любили его совершенно — ни за что, — как Он любит нас. Господь поднимает избранного до высот одиночества. Он хочет, чтобы человек был не только рабом, и не просто ребёнком, но настоящим другом. Всё это пережил сильнее всех Господь Иисус Христос в крестном опыте Голгофы.

Новая перспектива

Наша жизнь радикально изменилась потому, что для нас открылась новая перспектива. Мы отошли от внешнего и открыли внутреннюю жизнь. Если раньше во всех своих бедах и проблемах мы обвиняли общество, КГБ, революцию, то теперь нам стало ясно, что мы сами виноваты во многом. Бесконечные и бессмысленные вопросы — кто виноват, что делать, которые так часто присутствуют в разговорах русских, — прекратились. Началось другое время, время построения новой жизни. Мы изнутри почувствовали, что советская власть держится не на военной мощи, но на страхе и лжи. В основе всех бед — разрушенный внутренний мир человека. У Святых Отцов наши монастыри называются «лечебницами», священники «врачуют», — они не только талантливые психологи или психоаналитики, священники — «художники художеств», жертвенные аскеты, люди, знающие, что такое различение духов.

Созрела нива и готова для жатвы

Недавно я прочла лекцию об экзистенциализме в музыкальной школе для взрослых (*это был 1978 год. — Ред*). Я говорила без всякого давления. Я старалась передать моим слушателям состояние внутреннего покоя. Примерно 40 человек слушали меня. Были совсем разные люди. Были инженеры, физики, рабочие, в возрасте от 20 до 50 лет. Мой доклад превратился в невольную исповедь. Я не остановилась на философии экзистенциализма, но перешла к христианству. Результат был неожиданным: мой доклад оказался искрой для настоящего пожара. Я опять вспомнила о Христе, сказавшем: «Созрела нива и готова для жатвы».

Только к утру меня отпустили домой. Никто не хотел уходить. У всех были самые актуальные вопросы. Казалось, что передо мной были люди, умирающие от жажды. Я буквально должна была рассказать обо всём: почему мученики Христа ради — люди радостные, что значит враг Церкви, но также, что такое грех самоубийства. Мне было бесконечно стыдно, что столь многие люди погибают потому, что они никогда не читали Евангелия.

В последнюю секунду я ответила на вопрос: «Где и когда можно креститься?»

Вчера в нашей церкви крестились три девушки, которые слушали меня. Одна из них занимала ответственный государственный пост. Я предупредила её, что о её крещении наверняка сообщат по месту работы. Она только махнула рукой и весело засмеялась.

Те немногие дни, которые я провела в монастыре, были потрясающими. Но было ясно, что моя душа совершенно не готова к тому, чтобы вместить силу молитвенной благодати. Когда я вернулась в Ленинград, была подобна сумасшедшей ракете. Эмоции, переполнявшие меня, выплескивались на моих друзей и знакомых. Я бесконечно рассказывала, как читала Псалтирь, почти ничего не ела и почти не спала. Мне казалось, что многие знакомые были в восторге. Они желали немедленно поехать в Пюхтицкий, чтобы «стяжать святой Дух». Во время исповеди я поведала духовнику о днях, проведённых в монастыре. Только мой добрый духовник сказал что-то необычное: что я полна гордыни, и первый раз в моей жизни он мне что-то запретил; он запретил мне произносить слово «я».

Тогда я не поняла почему. Но Господь дал мне массу примеров, и я узнала, что настоящая красота — в молчании. Она безмолвна.

Что за лица встречаешь в наших церквях! Лица, в которых нет ни одной лишней линии, ничего телесного. Они подобны иконам. Чистое пламя молитвы сожгло в них все страсти, любую самость и дух тяжести. В нашей церкви, в самом далеком её углу, стоит скромная женщина. Она никогда ни с кем не говорит, первая приходит в храм и последняя уходит из храма. На её измождённом, но счастливом лице сияют глаза. Её красота столь невозможна и скрыта, что на ум приходит сравнение с евангельским сокровищем, за которое можно отдать всё (см. цитату о купце). Давно хотела я поговорить с нею. Неловко подошла, неловко спросила: «И Вы всё время здесь, в церкви?»

Светлая улыбка проскользнула по её лицу: «Я ничего о себе не знаю».

Вот мне урок — не будь суетной, любопытной, забудь о себе самой.

Больше, чем осознание собственного достоинства

У новообращённых сильно развито чувство вины. Они мучаются воспоминаниями о прошлом, в котором они были преступнее любого преступника, потому что они хотели жить и испробовать всё на своей шкуре, — ведь у нас не было учителей. Чувство вины было новым, возвышенным чувством. Его не смешивали с советско-кафкианским комплексом универсальной виновности и проклятости (*речь идёт о внушении советским людям априорной вины перед некими негласными законами, причём гласные законы отличались справедливостью и гуманностью. — Ред.*).

Обращение к христианству чаще всего было борьбой с ложным чувством вины, с чувством недоверия. Идеальный тоталитаризм не нуждается в искренних людях, напротив, как раз их-то он уничтожает, празднует свою победу, когда все — от мало до велика — постоянно лгут. Участие во лжи создаёт иллюзию силы. Кажется, что царящая власть непобедима и вечна. Царит безнадёжность. В этом душевно-духовном вакууме важно не потерять чувство собственного достоинства и важно то, о чём говорил Солженицын: жить не по лжи.

Поэтому диссиденты боролись за права человека. Представители оппозиции, преодолевая страх,

пытались разбудить веру человека в собственные силы. Диссиденты начали с попытки освободить личность. А новые христиане должны были сделать шаг вперёд. Теперь, когда они преодолели страх и отчаяние, они не строили жизнь по принципу сопротивления. Они открывали новые, позитивные и творческие ценности. Героизм не был для них привлекателен, он был опасен — самолюбование, театральность, эгоцентричный нарциссизм. В героизме для христиан был соблазн опуститься до самодовольного и плоского советского гуманизма. И всем нам были противны слова Максима Горького: «Человек — это звучит гордо!»

То, что в атеизме было основой и поддержкой, стало препятствием в христианстве. Страх Божий был для новых христиан выше, чем самоуважение и бесстрашие. Чувство вины углубляло чувство ответственности за всех страдающих и угнетённых. В русских монастырях мы нашли универсальное всеединство, на которое тут же откликнулись наши сердца. В русских монастырях молятся за весь мир. В вечерней молитве произносится: «Теперь помолимся, братья и сёстры, за тех, за кого некому молиться. Помолимся Божией Матери „Под твою милость...“»

В церкви «се творю всё новое» (Апокалипсис). И в сегодняшней России много философствуют. Как и в XIX веке, русская интеллигенция читает всё, что приходит к нам с Запада. В самиздате существует масса переводов. На московских и ленинградских кухнях спорят о Ясперсе и Гуссерле, о Сартре и Леви-Строссе. Я вспоминаю, что я задумывалась над проблемой времени, мне нравились Бергсон и Хайдеггер, писавшие, что рационалистическая философия может понять лишь прошлое. Как рассудок,

так и разум — демонстративные служаки прошлого, которые имеют отношение к мёртвому, законченному, к тому, что было. Мне нравилась мысль Хайдеггера о Ницше, где он редуцировал рационализм к волюнтаризму. От Лейбница до Шопенгауэра и Ницше философия разума была философией воли. Хайдеггер комментирует любимую мысль Ницше «о вечном возвращении». Воля может всё, кроме одного. Поэтому воля мстит времени и изобретает идею вечного возвращения одного и того же. Значит, разум принадлежит к царству прошлого.

Мы были одновременно детьми России и Европы. Мы были рабами рационалистической культуры, где прошедшее царило над настоящим, где нельзя было ничего изменить, где Сизиф бесконечно катил свой камень к вершине, и человек был рабом всех времён. Он был в рабстве действия, ошибки, глупости.

Сейчас, вспоминая обо всём этом, я думаю, что мы жили в аду, поскольку одно из свойств ада — монотонная повторяемость.

И вдруг — пришло что-то другое. Христианство освободило нас от давящей кармы прошлого. Покаяние в грехах (когда они прощались) было чем-то прежде невозможным: прошлое исчезало, его не было.

Церковь победила то, что было непобедимым. Наглости вечного возвращения противостояла уникальность исторического события — Воскресения. В церкви всё было новым. Как в первый раз, когда мы вошли в неё, так и через многие годы. Святое причастие всегда уникально, единственно и неповторимо. Любовь к Церкви всегда первая любовь (см. Апокалипсис).

Глава шестая

Наш семинар

Как-то зашёл ко мне знакомый поэт Сергей Стратановский. Сергей принадлежит к тем русским интеллигентам, о которых когда-то сказал Достоевский: им миллиона не нужно, им нужно только мысль разрешить. Он агностик, что мне тоже нравилось. Почти всё наше окружение было в начале семидесятых годов уже верующим, некоторые пришли ко Христу в результате сложных душевных и духовных поисков, некоторые же просто потому, что быть неверующим считалось уже чем-то провинциальным и отсталым. Между христианством и культурой был почти поставлен знак равенства. В таких условиях было трудно остаться атеистом или даже агностиком. Сергей был слишком честным и внутренне самокритичным человеком, чтобы однажды заговорить как все с позиции веры. Он оставался скептиком.

Его волновали проблемы культуры, волновали глубоко и всерьёз. Он не мог не видеть, что религия всегда была началом и питательной почвой для европейской культуры, так что и само слово «культура» выводится из слова «культ». Это он предложил нам создать религиозно-философский семинар для изучения Отцов Церкви, современных богословов.

В 1973 году состоялись наши первые семинарские встречи. Мы меняли квартиры: хозяин помещения,

в котором происходил семинар, был в небезопасном положении — как правило, ему грозило увольнение с работы и различные другие меры наказания.

Всеобщую популярность приобрёл семинар тогда, когда он стал собираться в подвальной и сырой, но огромной квартире «37». Каждую пятницу приходили в эту квартиру десятки, а то и сотни людей. Садились на пол (стульев, конечно, не хватало), размещались по всем трём комнатам и с замиранием слушали доклады. Мы начали с самого простого и всем доступного. Тогда ещё самая крупная в городе Ленинграде Публичная библиотека не была недоступной, как она недоступна для большинства неофициальной интеллигенции сейчас. Не были спрятаны от читателя дореволюционные издания церковных писателей: Григория Богослова, Василия Великого, Оригена, Афанасия Великого, Тертуллиана, — их тексты мы читали с таким увлечением и такой жадностью, как никакую другую литературу. Ни архаичность языка, ни давность тех проблем и споров не могли охладить наши чувства. Эти люди были близки нам, мы как будто нашли не только знакомое, но бесконечно более высокое и духовно зрелое, что было для нас непререкаемым церковным авторитетом.

Кто же приходил к нам на семинар? Самые разные люди. Это были неофициальные художники и поэты, философы, которые писали «в стол» или печатали свои труды в самиздате, физики и математики, ищущие глубинный смысл вещей, школьники старших классов и старики, которые застали ещё последние религиозные кружки, уничтоженные в 1930-х годах. Приходили люди из академической

среды, были и «чудики», без которых не обходится наша русская жизнь: явные сумасшедшие, которые «общались» с другими мирами и инопланетянами, был даже один «подпольный» марксист, подпольный потому, что открыл аутентичного Маркса и с этих позиций критиковал наше общество, как общество «государственного капитализма». Его редкие, но энергичные реплики на семинаре обычно всех веселили, потому что никто из нас не мог принять марксизм всерьёз, особенно смешно было слышать, как он с суровым видом сектанта-фанатика повторял: религия — опиум для народа.

Но в основном это была творческая интеллигенция в возрасте двадцати пяти — сорока лет, ищущая и жаждущая обновления. Постоянно участвовали в семинаре, делали доклады и были ядром семинара 5–6 православных христиан-неофитов.

У каждого из них был свой путь к Богу, и, когда я смотрела на их очищенные, радостные лица, я не верила, что знала их когда-то совсем другими. Вот их биографии.

Саша П., тот, который не расстается ныне с Посланиями апостола Павла, знает их почти наизусть, собирает каждый день вокруг себя молодёжь, чтобы читать их вслух и говорить о них. Я знаю Сашу уже более десяти лет. Сейчас ему 28, и в школе он был первым учеником, лучшим математиком, известным поэтом. В 20 лет увлёкся Ницше и Фрейдом, в 23 начал пить, быстро опустился, стал неинтересным и опустошённым. Не я одна, а многие из нас помнят его постоянно стоящим за одним из столиков в кафе, молчаливым, с бессмысленным взглядом. Потом он попал в психиатрическую больницу, где впервые

в жизни познакомился с христианами. Так начался его путь в новую жизнь. Выйдя из больницы, Саша сразу же пошёл в церковь, крестился и почувствовал себя заново рождённым. Многие из моих знакомых, крестившиеся в сознательном возрасте, испытали на себе всю силу таинства, что сделало их веру крепкой и непоколебимой.

Вот вторая биография: Галина Г. Умная, смелая и талантливая женщина. После школы и института, усвоив, что по-настоящему свободные и творческие люди живут вне социальных структур и ролей, она порывает со всякой «буржуазностью» и уходит в артистическое подполье. Начинается обычная жизнь богемы: писание стихов по ночам, неофициальные спектакли, бесконечные говорливые интеллигентские застолья, свобода во всём — в любви, в смене вкусов и авторитетов, в истеричном и хаотическом существовании. Потом была попытка покончить жизнь самоубийством, к счастью, неудачная. Случайно встречает она йогов, жизнь после этого резко меняется. Галина бросает пить, переходит на питание только овощами и фруктами, и высокомерно смотрит на «грязный мир» вокруг. В христианский храм она зашла как йог, чтобы почувствовать «божественные энергии» (йоги часто говорили мне, что медитировать лучше всего в церкви). Потом начала креститься, считая, что крестное знамение — это, как всякая мантра, верный путь к Абсолюту, реализации. Наконец, стала петь со старушками в хоре и, отбросив своё «ом-ом», произносить слова глубочайших христианских молитв. За несколько недель она «почувствовала» христианство как религию, несущую совсем другой, не индуистский дух. Она поняла, что

христианство ей ближе, что именно оно освобождает, даёт конкретную силу и благодать.

Ещё одна судьба: Слава Д. В прошлом преуспевающий советский социолог, участник многочисленных общесоюзных и мировых конгрессов по социологии. Жил, как и большинство людей этого круга, раздвоенной жизнью: на партийных собраниях выступал и призывал к выполнению решения очередного съезда, вечером же, в кругу знакомых, рассказывал антисоветские анекдоты; но когда-то проснулась в нём совесть, и начал он понимать, что живёт не так. Когда произошли события в Чехословакии, положил свой партийный билет на стол, потеряв таким образом работу, прежних друзей, — всё, что составляло раньше смысл его жизни. Он жил холодной ненавистью ко всему: этому строю, этой стране, этим людям-рабам вокруг. В христианство привела его жена, тихая и робкая женщина. Он говорил мне потом: «Я видел, как красиво лицо человека, когда он молится». Теперь он изучает Оригена.

Христианство создало этих людей заново: они учились заново смотреть, их голос приобрёл глубину и спокойную силу, в жестах исчезла размахистость, во всём облике появилась естественность и гармоничность.

Можно было бы рассказать ещё десяток биографий, каждая из которых неповторима. Размышляя об этих судьбах, понимаешь, что вера не стала для них очередным идеологическим увлечением, потому что изменение коснулось не только их убеждений, — изменился взгляд на себя и на мир, изменилась каждая секунда в жизни их тела и духа.

Основными докладчиками и участниками семинара были православные христиане, но, кроме

православных, приходили и католики, тоже неопиты. Католики создали у нас в Ленинграде маленький экуменический кружок. Некоторые из нас ходили к ним по средам, молились, читали Розариум. От наших католических друзей мы впервые узнали о Фатимском явлении Божьей Матери и о том, какие слова сказала Божья Мать о России.

Однажды узнали о нашем существовании ленинградские баптисты-инициативники. Это те, которые продолжают христианское обучение детей, не регистрируют свои общины. То есть сознательно и непоколебимо избирают путь мученичества. Баптисты обычно слушали все доклады, все наши хаотичные дискуссии, которые могли продолжаться часами. Многого они явно не понимали, другое было вне их опыта и проблем — ведь это были совсем простые люди. Их мало волновали проблемы культуры (евангелическую интеллигенцию советская власть вырезала уже в первые годы своего существования). В нас они видели людей искренне и горячо верующих — это и сближало, несмотря на все различия.

Когда, наконец, дискуссии наши утихали, вставал кто-то из баптистских проповедников, открывал писание и говорил. Конечно, в их проповедях мы не могли найти особо изящных поворотов мысли, какой-нибудь неожиданной диалектики или философской глубины. Это были простые слова о простых вещах, но сказанные с такой силой и убеждением, с такой готовностью ответить за каждое слово немедленно перед невидимым судьёй, что мы не могли не преклониться перед ними, не вспомнить евангельское: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1: 27).

Не всегда, конечно, наши отношения с баптистами были столь идиллическими. Были у нас и расхождения, и страстные выступления друг против друга. Однажды мы решили обсудить тему христианского брака. Понятно, что для многих православных, переживших в своей прошлой языческой жизни и сексуальную революцию, и не один развод, наряду с идеалом христианского брака особой притягательностью обладал монашеский путь. Многие уже и жили как монахи в миру: так хотелось им искупить прошлые падения, так сильна была жажда оставить всё и пойти самым узким путём. Для баптистов же, которые последовательно выражали точку зрения Лютера, монашества не существовало. Величайшим грехом считали они наши путешествия к старцам, нашу любовь к иконам, постам и христианскому аскетизму. Когда они начали открыто, ссылаясь на Писание, говорить, что икона — это идол, языческий кумир, аудитория ещё сохраняла спокойствие (люди были начитанные, знали, что протестанты имеют свои «странности»), но когда один из их проповедников разошёлся ещё больше, говоря что-то против Божьей Матери, разыгралась буря, грозившая вылиться в настоящую религиозную войну. Я была тогда председателем и не знала, как успокоить расшумевшиеся стороны. Баптисты ушли от нас раздражённые, чужие. Потом, когда прошло некоторое время, нам стало стыдно. Мы продолжали приглашать наших друзей-протестантов, но уже избегали всех тех, которые могли бы вызвать бесплодные и злые споры.

На семинаре были люди не только верующие. Приходили атеисты, которых точнее было бы называть скептиками-агностиками. Кто-то интересовался

историей сект в России, кто-то поклонялся Христу как лучшему человеку (но не Богу). Их интересовала религия как сфера, где человеческий дух раскрывается с наибольшей глубиной и серьёзностью. Некоторые признавали, что Евангелие — самая гениальная книга в истории человечества, другие поклонялись человеку-Иисусу, третьи верили в философский Абсолют, четвёртые — в какую-то тайну, пятые просто хотели быть на уровне современных духовных поисков. За несколько лет существования семинара многие из колеблющихся ранее уверовали в Личного Бога, в Святую Троицу и апостольскую Церковь, причём процесс вхождения в христианство распадался для всех нас на две стадии. Как правило, в начале человек убеждался, что Бог существует, существует реально, а не только в его душе. Следующий шаг было сделать ещё труднее. Человек должен был найти Церковь — мистическое тело Христова, должен был приобщиться церковной жизни. Конечно, никакого навязывания религиозных взглядов у нас не было — мы слишком ценили свободу друг друга, одновременно у всех верующих было ощущение, что время работает на нас и ощущение это подкреплялось каждодневной практикой. Ещё недавно надо мной горевали и одновременно смеялись мои друзья-философы: ушла к безграмотным старушкам, потеряна для философии. Не прошло и двух лет, как все они крестились, кто в 30, а кто в 35, и я стала их крёстной матерью.

Русская интеллигенция ещё в начале века начала прозревать, её лучшие представители проделали путь от марксизма к идеализму, а от идеализма к христианскому реализму. Уже в начале века интеллигенция,

как блудный сын, потянулась в церковь. Организовывались религиозно-философские собрания, где с одной стороны звучал голос наиболее передовых и открытых церковных иерархов, с другой — выступали писатели, философы, публицисты.

Когда сегодня читаешь протоколы этих собраний, кажется, что они написаны в совсем другую эпоху: интеллигенция, открывшая для себя заново глубокий и таинственный смысл христианской веры, не может примириться с «пассивностью», неподвижностью, консервативностью православной церкви. Какие только реформы и новшества не предлагаются ей для обновления старых церковных мехов.

Возвращаясь в наше время, мы находим церковь ещё более «пассивную», можно сказать, раздавленную государством. Но никто из нас никогда не упрекал свою церковь, не критиковал её со стороны, не требовал нововведений. Если это и происходило, то только в самый первый момент, когда человек ещё не открыл для себя всей полноты церковной жизни, и происходило это от лени: трудно с непривычки войти в совсем иной ритм жизни, вычитывать утренние и вечерние молитвы, отстаивать трехчасовые литургии.

Русская интеллигенция сегодня достаточно обнищала (*смирил Себя, быв послушным даже до смерти крестной. — Фил. 2: 6*), чтобы искать причину существующего зла не на стороне, а в себе самой, чтобы прийти к главному, с чего начинается перестройка всей жизни, — к покаянию. «Жить не чувством обиды, а чувством вины», — говорит Бердяев. Само понимание церкви стало иным, более глубоким, более мистическим. В ткани мёртвого государства церковь

открылась нам как единственный чистый островок жизни. Церковь стала антитезой всякой оглуляющей и убивающей идеологии. А ведь мы живём в государстве, где власть идеологии тотальна. Идеология уродует личность, в церкви же личность созревает во всей своей полноте. Идеология постоянно паразитирует на чувствах, на несчастье людей, в церкви же совершается реальное и творческое общение людей друг с другом, коммуникация без лжи. В идеологии всегда ущемляется или телесное или духовное содержание человеческой личности, в церкви — полнота духа и тела, преодоление всякого дуализма.

Церковь воспринимается сегодня нами не как государственный институт, а как тело Христово, как новая, устремленная к воскресению всей твари жизнь.

Последние годы наши семинары проходили по воскресеньям. Мы собирались в нашей церкви на литургии, исповедовались, причащались, потом ехали к кому-нибудь. Постоянной квартиры у нас скоро не стало. Мы меняли места семинаров, чтобы не подвергать опасности обладателей квартир, — во всяком деле КГБ всегда смотрело материалистически: семинар? где? кто владелец помещения? Владельца квартиры могли выгнать с работы, могли лишиться прописки в Ленинграде, да и много есть способов, чтобы испортить человеку жизнь, если этот человек живёт в государстве всепроникающем и всеохватывающем.

Мы узнали через несколько лет существования семинара, что в Москве интеллигенция тоже собирается на подобные семинары. Мы услышали имена Александра Огородникова, Владимира Пореша,

Татьяны Щипковой. Потом стали доходить до нас слухи о жестоких преследованиях московского семинара, были арестованы Огородников, Регельсон, комитет «Защиты верующих». Когда начались эти аресты мы поняли, что стыдно нам молчать. Написали и обнародовали несколько писем в защиту московского семинара, постарались связаться с теми, кто ещё не был арестован.

Московский семинар был создан, как и ленинградский, молодыми неопитами. Москва и Ленинград издавна отличались друг от друга: в Москве царствовал всегда более почвеннический, более русский дух. Петербург — Ленинград был городом, обращённым к Европе, и построен он был не на чём — на болоте, и назван Достоевским «самым умышленным городом в мире».

Ели наш ленинградский семинар был пёстрым по составу — приходили все: ницшеанцы, йоги, мусульмане, православные монахи, — то в Москве собиралась уже зрелая православная публика. Там много дискутировали о судьбе и предназначении России, перед семинаром молились о русских мучениках, называли вслух имена замученных большевиками епископов, священников, мирян. Всё это были темы и разговоры новой России. В них не было ни капли консервативности, желания реставрации, возвращения к старым дореволюционным порядкам. Православие открыло многим глаза на то, что у них есть родина, новое и вечное. О ней не пишут в советских газетах, но она существует, возрождается из пепла: Россия святых Бориса и Глеба, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

Московский семинар отличался от ленинградского не только своим повышенным интересом

к чисто русской тематике. Нашим московским друзьям было очень трудно воплотить в реальность настоящую общинную жизнь. Как известно, в Советском Союзе общинная жизнь церкви невозможна, поэтому попытка построить настоящую, живую общину была страшной угрозой существующей социальной структуре, отличающейся своей бесчеловечностью и жестокостью. Но в том-то и сила новых христиан сегодняшней России: они не борются с существующей системой (её зло очевидно сегодня для всех), не обличают бессовестных маразматиков-правителей, а, обрета внутреннюю свободу, строят новую положительную реальность, создают примером всей своей жизни будущую и настоящую церковь. Они уже живут и уже побеждают.

Московский семинар сегодня весь арестован. Его участники получили большие сроки. Мне представляется, что одна из причин тому, что в Ленинграде семинар ещё собирается, а в Москве — нет, это социальная и политическая направленность московского семинара, это их попытка быть христианами в самом конкретном и в самом опасном смысле слова — создать христианскую общину.

Глава седьмая

И не было в нём вида... (У баптистов)

Мы долго шли от электрички до дома брата Володи. Была ненастная петербургская осень, ноги тонули в грязи. Серо, безлико и холодно смотрели на нас неотличимые друг от друга, стандартные пятиэтажные дома. Безликий и безъязыкий мир советских новостроек. Может, какой-нибудь новый Кафка опишет тебя. Но и кафкианская обречённость, и кафкианский тупик покажутся на этом фоне каким-то частным литературным переживанием. Сама архитектура — только отзвук всесильной власти Великого инквизитора, освободившего людей от Бога, традиций, от самих себя.

Люди, с которыми иду рядом на первое в своей жизни баптистское собрание, казалось бы, по всем признакам должны быть захвачены той же анонимной властью Великого инквизитора. Они не принадлежат, как мои друзья, к дерзкой и скептической интеллигенции, они, как все нормальные советские люди, живут с детства в нашем советском зазеркалье, где ложь обязательна, недоверие необходимо, страх вездесущ. Передо мной, казалось бы, простые люди, хотя я и знала уже, что один из них двадцать пять лет провёл в ГУЛАГе.

Наконец мы миновали советские новостройки и пришли на окраину села, где ещё стояло несколько

деревянных изб. Мы вошли в одну из них, просторную, всю заставленную деревянными скамейками.

Впереди стоял стол, над столом полотно — большими буквами написано: Бог есть любовь. Для меня, как православной, — чуждо, голо, нелепо. Напрашивалось недоброе сравнение с залом для партийных заседаний. Я привыкла к царственной, таинственной и мистической красоте православных храмов. Привыкла, что храм Божий — это Небо, сошедшее на землю.

Пришло человек сорок, всё таких же обыкновенных, средних людей. Правда, бросается в глаза их собранность, спокойная торжественность, застенчивость и одновременно открытость. Сразу заметна даже особая, не базарная, культура жеста, походки, взгляда, что не даётся никаким светским воспитанием, но что появляется лишь как отражение глубокой, внутренней серьёзности.

Собрание началось с молитвы, которую читал самый старший из проповедников, седой и немощный старец. Потом начали спонтанно молиться все присутствующие, стоя на коленях. И тут мне открылись поразительные вещи: я присутствовала при покаянии, которое, как в первой церкви, совершалось вслух, перед народом, при всех.

Одна женщина каялась, что ничем не может помочь своему мужу — неверующему и пьянице, что не способна спасти его, открыть ему тот свет, который обрела сама. Другая каялась и благодарила Бога за головную боль и болезни. Эта последняя была толстая женщина совершенно кухарского вида, из тех, которых я привыкла видеть только подглядывающими за соседями по коммунальной квартире, кричащими в магазинах и скандалящих в очередях.

И вдруг — такое глубокое, проникновенное, как псалом, и искреннее, рождённое глубокой болью и сильным духом слово. В её словах, когда она благодарила Бога, была радость и лёгкость. Она умела не просто забыть о своей повседневной жизни с тысячью мелких забот, но превратить тяжесть и механистичность быта, тяжёлую его вязкость и тупость в освящённую и данную Богом реальность. Значит, раньше я презирала её и подобных ей, думала, что с головой ушли они в это кухонное своё болото, за людей не считала. А теперь я пристыжена. С радостью признаюсь в этом. Оказывается, на любом месте может христианин служить Богу. Как говорил святой Симеон Новый Богослов: «Святой Дух ничего не боится и никого не презирает».

То, что произошло далее, совсем поразило меня, уничтожило ещё одну иллюзию и злую мысль. Дальше говорили дети. Они читали наизусть Евангелие, целыми страницами, были серьёзны и умны. До сих пор я думала, что чистота детства — это миф, который выдумали взрослые, и разделяла точку зрения Фрейда, сказавшего о ребёнке, что он «полиморфно перверзен». Я помнила, какой хитрой была сама в детстве, как умела играть выгодные роли. Дети моих интеллигентных знакомых, вечно требующие к себе всеобщего внимания, усиливали моё неприятие. И вдруг передо мной иллюстрация из Евангелия: «Не обратитесь и не станете как дети, не войдёте в Царствие Небесное».

Позднее в православных монастырях я видела маленьких детей, шести-семи лет, отстаивающих длинные службы. Они молились действительно, они знали, что такое разговор с Богом.

В серьёзности этих читающих наизусть Писание детей я почувствовала что-то реальное, ненаигранное. Впоследствии я видела детей-исповедников и даже детей-мучеников. Уже в школе их встречало то, что позднее становилось их каждодневным уделом. В школе учителя высмеивали верующих детей и натравливали на них одноклассников. Но и насмешки, и побои эти дети выносили мужественно. Они уже сознательно шли на Крест — так сильно говорил Живой Бог в их душах.

Афонские монахи, побывавшие в русских монастырях, говорили мне, что на том свете их будут судить эти русские дети.

Дети окончили своё выступление. Дальше было пение. Пели под гитару какие-то незамысловатые стихи, упрощённые и антиэстетичные.

В другое время я назвала бы это китчем. Музыка — не лучше: мелодии заимствованы из расхожих советских песенок. Но искренность побеждала. Трепет голосов, произносящих имя Бога как будто в первый раз.

Потом была проповедь. Выступал мужчина лет пятидесяти. В руках он держал Библию. Самым интересным моментом в его слове были рассказы-свидетельства из собственной жизни.

Сам он — финн, женился двадцать лет назад на русской и поселился в Ленинграде. В Финляндии он по традиции посещал лютеранскую церковь. Когда приехал в Ленинград, стал искать своих братьев по вере. Ему объяснили, что есть баптистская церковь. Одна разрешённая, другая запрещённая, гонимая. Потом спросили, в какую он хочет. Он ответил: «Конечно в гонимую». Так он оказался у инициативников.

За эти годы его много раз арестовывали. Офицер КГБ как-то спросил его: «Какое право Вы имеете без разрешения говорить о Боге? Покажите Вашу справку?» Тогда брат Н. открыл Евангелие и прочёл: «От избытка сердца говорят уста» — вот моё разрешение.

После брата Н. выступил молодой человек в матросской форме и говорил, что вера изменила всю его жизнь. Что раньше он пил, думал только о деньгах и медленно деградировал.

Все остальные внимательно и молча слушали. Только один из присутствующих вёл себя необычно, плакал и вздыхал, бил себя в грудь и громко говорил: «И я, Господи, и я был пьяницей, был лгуном и вором. Я предавал Тебя, Господь!»

После собрания спросила у одного брата, почему этот человек так открыто выражал свои чувства. Мне ответили, что это — пятидесятник, что если баптисты отличаются сдержанностью и собранностью, то у пятидесятников преобладает другой момент — там не стесняются быть эмоциональными, доходят даже до «радений», нередко в их среде «говорение языками», откровения и излечения.

Последнее слово говорил брат, приехавший из Украины. Пока он доехал до этого ленинградского пригорода, останавливался во многих местах, где были баптистские общины. Везде проповедовал перед братьями. Рассказал нам о том, как убили в армии молодого брата Петра. Он отказался брать в руки оружие и был избит до смерти.

Украинский проповедник был человеком совсем неучёным. Неправильно делал ударения в словах,

говорил негладко. Впадал порой в преувеличенно патетический тон, неестественно усиливал голос. Я невольно вспомнила (своей злой, ироничной памятью), как на философском факультете, где учились и преподавали комсомольские и партийные ораторы, у нас появилось убеждение, что главное — научиться громко и самоуверенно говорить, и возможно, где надо, переходить на крик. Но даже сходство с официальным советским оратором не смогло скрыть от нас, слушателей, эмоциональной силы и правдивости того, что говорил брат. Сквозь чужую, неверно найденную форму пробивался голос проповедника, голос, в котором жила не самоуверенность и даже не уверенность, а вера.

И уже не в первый раз за этот вечер пришли мне в голову слова из Писания: «...нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умалён перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни...» (Ис. 53: 2–3).

В монастыре

Монастырей в сегодняшней России осталось немного, около 17. Находятся почти все они в «присоединённых» после войны республиках: Эстонии, Латвии, Украине, Литве. Там они не были закрыты, так и остались нам в наследство.

Мы ездили в монастыри на неделю (на больший срок нельзя было — таков паспортный режим). Но и трёх дней в монастыре хватало, чтобы сбросить с себя мирскую расслабленность, чтобы обрести полноту духовного дыхания, чтобы, набравшись сил, смело вновь выходить на битву в мир.

Вот впечатления одного монастырского дня. Они не касаются самого главного — монастырской службы и молитвы. Об этих таинственных и глубоких материях я, с помощью Божьей, напишу в другой раз. Сегодня же — только о людях, которых встретили в монастыре я и моя подруга, когда однажды летним днём сели в Пскове на автобус, отправляющийся в Печёры.

Отец Александр

Он сидел напротив нас в душном и трясущемся провинциальном автобусе. Типичный сельский

батюшка (конечно же, не в рясе — это строго запрещено; предусматривалась статья уголовного кодекса «За религиозную пропаганду»), мы узнали его по какому-то старомодному облику: тёмно-синий ветхий плащ, круглая серая шляпа, жиденькая бородка, саквояж в руках.

Отец Александр заговорил с нами громко и вдохновенно. Весь автобус слушал его — кто с восторгом и умилением, кто посмеиваясь, а кто раздражаясь и открыто озлобляясь. Он говорил в течение всего пути, целые полтора часа. Отец Александр служил где-то в далёкой деревне. Это был яркий, талантливый оратор. Часто сажал он в лужу штатных атеистов (*преподавателей научного атеизма. В советских университетах только две дисциплины назывались научными: научный коммунизм и научный атеизм. — Ред.*).

— А ещё, товарищ Алогинов (фамилия одного из его оппонентов), скажу я Вам, что я — не пережиток капитализма, а пережиток коммунизма, поскольку родился я уже при советской власти, служил семь лет на флоте, был в партизанах, работал на заводе, пришёл к Богу, много пережив и передумав.

— Что касается материального усовершенствования, то, скажу я Вам, товарищ Алогинов, что жизнь никогда не развивалась одним благополучием, а была полна острых противоречий и трагедий.

— Вот Вы пишете, товарищ Алогинов, что все советские люди идут вперёд, вслед за самым передовым в мире мировоззрением. А я замечу Вам, что сто процентов мужчин в моём приходе пойдут не за самым передовым мировоззрением, а за бутылкой водки.

Рассказывал отец Александр о том, как его за пропаганду религии вызывали в милицию. Милиционер спрашивает: «Это правда, будто бы Вы говорили, что у нас нет свободы?» Отец Александр ответил: «Для меня свобода лишь во Христе. О всякой другой могу лишь сказать, что, если б она была, я не сидел бы здесь».

В него не раз швыряли камнями, грозили убить. Он говорил, что вера сделала его бесстрашным, и он всей душой стремился пострадать за Христа. Себя называет простым, скромным христианином. «Я, скромный христианин, не могу не признать существования Бога, при взгляде на звёздное небо, сидя на могиле близкого человека, присутствуя при казни мучеников».

Когда мы расстались, отец Александр шепнул нам: «Я понял, Вы такие же, как отец Дмитрий Дудко и отец Глеб Якунин. Я каждый вечер западное радио слушаю. Держитесь и ничего не бойтесь!»

Сестра Маруся

Вот мы и приехали в село Печёры. Ясно, что в мужской монастырь нас не пустят пожить, поэтому мы стали искать, где бы остановиться на ночь. Само село Печёры превратилось со временем в один сплошной, тайный монастырь. Нередко женщины-бродяжки, живущие около монастыря, тайно принимали монашество. Несмотря на жестокие карательные меры — частые налёты милиции, штрафы, население села пускало к себе паломников, приезжавших со всей России. Спали бок о бок на полу в избах, на чердаках и в сараях, в хлевах и в дровниках.

Постучавшись в один из домов, я сказала по-монастырски: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную». В ответ прозвучало: «Аминь».

Мы вошли в горницу, набитую народом. Но место и для нас нашлось — в сенях, рядом с ещё одной паломницей, рабой Божьей Марусей.

Маруся, как мы потом поняли, очень распространённый в простом народе тип богомолки. 58 лет от роду. Маленькая, серенькая, в платочке и тапочках. Читать и писать не умеет. Всю жизнь занималась хозяйством, детьми. Жила в деревне около Саранска. Зимой увидела сон, что ест человеческое мясо. Мясо это неприятно застревало в зубах. Видела во сне и ещё какую-то мёртвую, распухшую бабу (говорит: «Как будто бы я сама этой бабой была»). Сон подсказывал, что давно не причащалась (церковь в 20 километрах от деревни). Через месяц ещё сон — изо рта тащит глистов. Ещё раз пошла в церковь, причастилась, но поняла, что этого мало: «Всё равно скоро помирать». Продала скотину (четыре головы), деньги положила на сберкнижку и зарыла её в доме, под полом. Обстановка, мебель, хозяйство, налаженное к старости многолетним, неустанным трудом, давило на душу. Бросив всё, стала странницей по Святым местам. Странствует уже четыре месяца. Говорит с убеждением, горячо: «Пропади всё пропадом, пусть там, дома, всё разнесут и всё возьмут себе: и дом, и кирпич (который с таким трудом закупила), и деньги. Зачем мне всё это?! Хватит уже! Пора к Богу. Про рай и не думаю. Куда мне в рай! Мне бы хоть где-нибудь в аду, на самом краю уместиться».

Библию ни разу в жизни не видела. Спрашивает, большая ли это книга? Содержание Евангелия знает

смутно, но то, что «сокровища надо собирать на Небесах», знает. А то, что знает, то тут же немедля пытается выполнить.

Ждёт Маруся, как и другие странницы, конца света: «Видишь, зелёные листья падают среди лета — последние времена приближаются», или «А правда, скоро война с Китаем будет, как в Библии написано?», или «Можно ли брать в руки новые паспорта (недавно была у нас паспортная реформа, выдали населению новые паспорта красного цвета). Что об этом в Библии написано? Здесь многие сомневаются, не от Антихриста ли они?»

Среди женщин тревожные разговоры о том, что скоро всех переведут в польскую веру (так называют они католичество). Это отзвуки недавно состоявшегося экуменического съезда в Москве.

— А почему Вы боитесь католичества, — спрашиваем мы.

— Как почему? Они только одного Христа признают. А Царицу Небесную и Святую Троицу не почитают и мужчин обрезают. Последние времена. А слышали, в Америке в храмах мерзость — женщины попами стали.

Готовится каждый день и час к концу света и думает, что это будет ночью. Говорит нам: «Почему спите без рубашек? Господь придёт, а ты перед ним в штанах встанешь?»

Замечает всё за монахами и молящимися: «Вот ты не видела, как монах на твою юбку длинную смотрел и что-то говорил»; «Этот дьякон молодой так по сторонам и глазеет. Не выйдет из него монаха»; «Ты всю службу неправильно стояла. То на одной ноге, то на другой. Это дьявол тебе орешки под ноги

подбрасывал. Я всю службу за тобой наблюдала»; «Как сядет бес тебе на веки, как спать захочется, ты сразу молитву твори: Господи, помилуй!»; «Видели кликуш, как в них бес кричит. Отец Антоний отчитывал их, отчитывал, да и в него бес влез. Идёт намедни и рычит...»

Сестра Маруся, бесстрашно бросившая всё и последовавшая за Господом, очень боязлива. Наслышалась она про «психованные больницы», очень испугалась, потому что не взяла с собой из деревни новый красный паспорт, а без бумажки у нас человек не существует, и все хорошо знают об этом. Маруся боится, что арестуют её за «бродяжничество», «паразитизм» и посадят в «психованную больницу».

В вере Маруси тоже больше страха, чем других чувств. Это прежде всего страх Суда, о котором она постоянно говорит. В её сознании неискоренима мысль о том, что будут судить по заслугам. Она плохо воспринимает идею всепрощения. «Только и надеюсь, что на заступничество Пресвятой Владычицы», — мысль о Божьей Матери и её поднимает над безнадёжностью будущих ожиданий.

Мы от неё в очередной раз слышали историю, как один «высокий чин с полетами» (эполетами) похоронил своего ребёнка семи лет «некщёным» (некрещёным), и видит он сон, как дети где-то на лугу играют, а его ребёнка с ними нет. Спрашивает генерал: «А где же мой?» Отвечают — там, дескать; а там, куда указали дети, — такой мрак, что хоть глаз выколи. «Что же ты не с детьми?» — спрашивает отец. «А меня туда не пускают, я некщёный». После этого генерал окрестил других детей и себя самого,

венчался со своей женой. Рассказал всё это священнику, прибавив: «Пиши куда хочешь, теперь всё равно».

Слово «атеист» женщины не понимают. Понимают «коммунист» — злейший враг религии.

Сестра Маруся часто умиляется и плачет. Она способна к самокритике: «Тут одна до вас жила. Она мне рассказала, что батюшка не дал ей руку поцеловать для благословения. Так я её после этого презирать стала. А тут, как пошла к этому же батюшке за благословением, и он мне не дал руки поцеловать. Выходит — согрешила. Никого нельзя презирать».

Утро. Чуть светало, нас разбудила Маруся. Пора на службу. Ручейками стекаются жители села и паломники к утренней литургии в монастырь. Служба будет в Успенском храме, похожем на пещеру, таинственном и тёплом.

Около самого входа в храм на коленях стоит женщина и громко призывает (откуда только столько силы в голосе):

— Родимые, не искушайтесь, что безбожники иконы сжигают. Не смущайтесь, что храмы наши православные порушены, а те, которые ещё стоят, то с них безбожники кресты сбили! Пусть сердце ваше не смущается! Без воли Господа, родимые, ни один волос с головы не упадёт! А что священников всех извели, то тоже не смущайтесь: они за нас, грешных, сейчас перед Господом на Небесах молятся! Говорите, родимые, исповедуйтесь. Если священника нет, то ты перед иконой на колени уподи. Излей Божьей Матери душу свою, как родной матери излил бы. Не оставит Божья Матерь никогда!

Народ столпился вокруг кричащей. Зрелище явно непривычное, нарушающее такую постоянную монастырскую тишину.

Наконец, подошёл один из пожилых монахов: «Евдокия, встань, прекрати. Иди на литургию». Женщина послушалась сразу, кротко поднялась и пошла в храм.

Отец Феодорит

Мы вошли в храм. Встали в длинную очередь на исповедь. Перед исповедью отец Феодорит, ещё нестарый монах с суровым, простым лицом, сказал несколько слов. Он обличал тех, кто не умеет вести себя в храме. Нельзя ходить во время службы. Нельзя без конца целовать иконы. На икону нужно смотреть прямо — «лицом в лицо». Когда читают Евангелие, нужно застыть, потому что «Царь Царей» входит в храм. Некоторые, как только начинается чтение Евангелия, начинают кашлять, поскольку сатана ждёт, когда наступит этот важный момент, и хочет здесь навредить.

На исповеди многие жаловались, что впадают в гнев и ссорятся со своими мужьями-пьяницами. Отец Феодорит сказал на это: «Если вы ссоритесь — значит, вы, как и этот пьяница, служите дьяволу. Ваш муж ещё больше будет пить после этого. Вы лучше помолитесь, и дьявол уйдёт».

На исповеди почти все бесшумно плакали. Только один паломник не мог сдержать громких, горьких рыданий. Я заметила его ещё с вечера, когда впервые вошла в храм. Это был невысокий, плотно сбитый мужчина. Видно, что тяжёлую и трудную жизнь он прожил. Голова и лицо — в стриженной чёрной щетине, руки покрыты татуировкой. В руках у него были сеточка с бутербродами и бутылка с водой.

Он тоже только что приехал. В храме он обошёл все иконы по очереди. Прикладывался с глубоким чувством, целуя по нескольку раз, не задумываясь, очевидно, над тем, что изображено на иконе.

— Что же ты целуешь, — спрашивает одна старушка. — Это же геенна.

— А, — улыбаясь, безразлично машет рукой наш странник, — мне всё равно.

Услышав от другого паломника о муках, которые тот испытал в психиатрической больнице, страдая за веру, загорается гневом на гонителей. Речь его звучит убеждённо и страстно: «Ничего, Господь знает их дела! Страшный их ждёт конец. Слыхали про Бермуд-треугольник? Там каждый день корабли и самолёты гибнут. Ни одного ещё не нашли. А в Румынии недавно 80 тысяч народу погибло. Ещё не то будет! Вот увидите!»

Всех верующих воспринимает он с абсолютной любовью, как своих братьев и сестёр. К монахам относится с благоговением. В умилении пытается всем им целовать руки.

Брат Дмитрий

Мы увидели его впервые у колодца со святой водой во дворе монастыря. Это был невысокий, среднего возраста мужичок в вышитой рубашке, потрёпанном пиджачке, шароварах и шляпе. Лицо измождённое, человека одинокого, много выстрадавшего.

Когда мы подошли к Дмитрию, он, по просьбе богомольцев, продемонстрировал, как нужно глотать

таблетки в психиатрической больнице. Заглотив «клубничку», он широко открыл рот, показывая, что таблетки уже нет. Неожиданно, через несколько секунд он выплюнул её. Это было похоже на цирковой трюк. Потом он показал, как надо дрожать всем телом, чтобы невозможно было сделать укол. Свой горький опыт он приобрёл, проведя в психиатрических больницах, куда был посажен за веру, в общей сложности десять лет. Позднее он подарил нам листок бумаги, где написал свою грустную историю. Несколько раз он переписывал её, но так и не смог закончить. Вот эта история:

«Четверть века прожил я глупцом. Потом, после армии, посчитали меня дураком (психом). За свою простую веру был я так наказан, Бог меня так призывал — Он всегда подсказывал (вразумлял). На языке человеческого слов нет, чтобы изобразить всю тяжесть-горечь той чаши страданий, которую испил я по воле Отца своего Небесного — ради правды и справедливости.

Не радостна жизнь мне, ничуть не легка, оттого что правдивый, не делал я зла. Всё в мученьях, испытаньях — жизнь я не познал, не женился, не трепался, времени мне Бог не дал. Десять лет по психбольницам — Бог меня так призывал. В муках тяжкого страдания Он меня не оставлял.

После армии-службы 1953–56 гг. Богу угодно было совершить чудо со мной. Права мотоциклиста у меня появились после армии, через год и три месяца после сдачи на права. Мне было Богом вразумлено заняться мотоспортом и раскусить принцип работы мотора. Но свой мотоцикл иметь так и не пришлось. Желание было к технике с детства.

После первой тренировки Богу угодно было допустить на личное первенство города.

Воскресенье 18 мая 1958 года на спиртзаводе города Бийска был рабочий день. Я проработал там всего семь месяцев. Принят был плотником, в процессе рабочего времени усваивал, сдавал и переходил. Перешёл слесарем и, наконец, электрослесарем. Из пяти специальностей мне была более по душе электрослесарь: на свежем воздухе и работа очень проста, но работать мне пришлось совсем мало. 18 мая...»

На этом исповедь брата Дмитрия обрывается. Так и не успел он написать, как в воскресенье 18 мая начался его крестный путь, как приехала скорая помощь, и как грубые, здоровенные санитары без труда доставили его в самый последний круг ада — психиатрическую больницу, где у человека нет совсем никаких прав, и где постепенно убивают его мозг, истязают душу, смертельно отравляют тело.

Старцы

Старцы — гордость монастыря. Слава об их прозорливости, мудрости и святости идёт по всей России. К старцам едут из Казахстана и Сибири, с Севера и с Украины. Многие только для того, чтобы взять благословение, другие — чтобы только увидеть. Трудно попасть на беседу к старцу — так много желающих, такой толпой окружены они повсюду, где бы ни появились.

Ещё до своего обращения я слышала от друзей-йогов о «великих гуру» — так они называли отца

Иоанна и отца Адриана, знаменитых старцев Печёрского монастыря. Старцы беседовали со всеми, даже с йогами, прекрасно осознавая, что в условиях современной России пути к Богу становятся ещё более неисповедимыми, чем когда-либо. Ведь йога для многих из нас была первым шагом ко Христу.

Отец Таврион был первым старцем, которого мне удалось увидеть. После длинной службы в маленькой деревянной церкви, после скромной трапезы в монастырской столовой (это было в женском монастыре под Ригой) народ потянулся к домику архимандрита Тавриона. Я ещё и раньше слышала самые необыкновенные вещи об этом восьмидесятилетнем старце. Слышала, как однажды в ранней молодости он утонул, был уже на дне морском, и, сложив руки на груди крестом, всё продолжал молиться. Тогда бурная, разлившаяся от весеннего половодья река вытолкнула его назад, и он спасся. Как почти все другие старцы, отец Таврион долгие годы потом провёл в лагерях и тюрьмах (говорят, в течение 25 лет). Рассказывают, что в лагере, несмотря на самый бесчеловечный режим, нацеленный на уничтожение человека, отец Таврион находил время для каждодневного служения литургии. Вставал на час раньше всех и тихо один служил. Вечером он убирал за остальными лагерниками — а сидел он с уголовниками, — и никогда никого не укорял, не призывал, не действовал словами. Как говорят женщины в монастыре, большинство из тех, кто сидел вместе с отцом Таврионом, вышли на волю глубоко верующими людьми.

Около домика архимандрита выстроилась длинная очередь. Здесь были не только простые женщины, но и художники, приехавшие из Москвы,

и несколько хиппи с большими нательными крестами на груди.

Мне повезло — старец успел принять меня ещё до вечерней службы. Я только что стала христианкой. Даже не знала какой — православной, католической или лютеранкой, — такими несущественными казались все эти различия. Но помимо этого, у меня было множество вопросов и состояний, вызванных недопониманием, — ведь я мало что знала о христианстве. Неудобно было задерживать старца, поэтому я выбрала только один из мучивших меня вопросов:

— В проповеди Вы всё время говорили о страхе Божьем. Но для чего бояться: весь мир полон славы Божьей, разве Сам Господь не сказал, что «князь мира сего изгоняется вон», разве не спасены мы окончательно от зла?

Ответ отца Тавриона поразил меня:

— Вы рассуждаете, как Адам в раю. Вы ещё не стали настоящей христианкой, потому что не поняли, что Вы сотворены, что настоящий христианин идёт путём Креста, и высшая радость именно в том, чтобы нести Крест Христов. Но не торопитесь: со временем всё это откроется Вам.

И действительно, очень скоро из моей первоначальной, неопитской эйфории я была вынесена в реальность неожиданных испытаний. Тогда я стала принимать страдание так же открыто, как и радость, которую мне в таком изобилии когда-то давал Бог. И стали ясными евангельские слова: «Иго моё благо, бремя моё легко есть».

Старцы — это настоящие лекари. Они никогда не произносят пустых, ласкательных слов, они дают лекарство, часто горькое, но всегда действенное. Никто не уходит от старцев в отчаянии, даже просто в печали. Уходят утешенными, с лицами светлыми и помолодевшими.

Действует не только духовная мудрость, но и сила их молитвы, сила любви — прямой, конкретной, осязаемой сразу же всяким. Действует и безграничное доверие, которое оказывает им народ. Тысячи и тысячи людей в России живут тем, что вспоминают, как говорили со старцем, как он дал наставления. Старец — икона Бога. Увидев его хотя бы один раз, понимаешь, что жить по-прежнему нельзя, что с данного момента всё в твоей судьбе будет проверяться этой красотой, этим благодатным светом. Святость становится в старцах призывом и требованием.

Моя подруга сказала как-то: если такой старец Иоанн, то каким же должен быть сам Христос!

За старцем Иоанном, светящимся любовью, шла громадная толпа народа, где бы он ни появился. Люди ощущали его благодатность совсем конкретно, доходя иногда до языческого фетишизма: многие стремились прикоснуться к одежде старца, говоря, что от неё идёт духовная сила.

Понятно, что сами старцы вели войну с подобным их «обожествлением». Главная их черта — смирение. Старец Иоанн говорит о себе часто: «Я половичок под ногами у людей». И ещё: «Я всё хочу на скамеечку прыгнуть, а оказываюсь под скамеечкой».

Хочу быть над ней, а она на меня падает. Но я вновь забираюсь, не устаю».

У батюшки отца Иоанна есть духовная широта. Меня и других верующих из интеллигенции, привыкших быть людьми предельно терпимыми и ничему не удивляющимися, поражала эта широта суждений старцев, широта, в которой вместе с тем не было никакого либерализма или безразличия. Эта широта и смелость были явно результатом внутреннего спокойствия, силы, доверия Богу.

Старец был необычайно отзывчив на страдание. Помню, как однажды, после службы в Успенском храме, мы все стояли в длинной очереди — получить его святое благословение, приложиться к руке. Но вот в церковь вошёл ещё один человек, только что приехавший в Печёры мой знакомый Николай. Я-то знаю его нелёгкую судьбу. Он вырвался сейчас из мира, где у него остались неразрешимые проблемы и в семье, и на работе. На молодом, но усталом лице Николая — чувство катастрофы и потерянности. Это лицо так контрастирует с другими, спокойными и умиротворёнными лицами людей после длинной службы. Николай неуверенно встаёт в конец длинной очереди под благословение к старцу. Но старец сразу же замечает его, подходит сам, обнимает (он видит его впервые), целует в лоб, в щёки, в затылок. Так только мать может ласкать своё страдающее дитя. Старец спрашивает, откуда Николай приехал, когда сможет прийти к нему на исповедь.

Когда вспоминаю эту сцену, грубым и каменным кажется мне моё невоспитанное сердце.

На себе самой испытала я впоследствии силу любви старца. От разговора с ним я вынесла ощущение

безграничной примирённости со всем миром: и с людьми, и с животными, и с камнями. Тогда я вспомнила, что Святой Дух не зря называют Духом-Утешителем. Именно Святой Дух был с нами тогда. Старец строго и прямо говорил мне о моих недостатках, о торопливости моей и незрелости, но вышла я от него утешенная, будто побывала в раю. Помню, что старец даже не скрывал своего намерения утешить. Он часто во время разговора со мной говорил: «Ну вот, как могу ещё тебя утешить». Его любовь была и высокой, и ласковой, и такой сильной, что не боялась говорить прямо и всё.

В разговоре он, казалось, преклонялся перед каждой былинкой. Не говорил «яблоко», но «яблочко». Он сам был обоженной и обновлённой личностью, и весь мир вокруг него начинал звучать, наполненный божественными логосами и энергиями.

Общих ответов у старца Иоанна не было. Его подход к людям был обязательно конкретным. «У каждого человека свой путь к Богу. Каждому нужно давать по его мерке», — говорил старец.

Помню, как при мне старец говорил с несколькими женщинами, которые просили у него благословение на брак. Вопрос браков и разводов стал в наше тяжёлое время одним из самых драматических. Редкий брак можно считать нормальным, удавшимся. И половина браков заканчиваются разводами. Поэтому не так-то быстро дают старцы благословение на брак. Одной из женщин, спросившей благословение, отец Иоанн задал вопрос:

— Можешь ли ты родить святого? Если готова и можешь, то выходи замуж, если нет, не благословляю.

Другой он говорит:

— Вот ты учёная женщина. Наука для тебя была всегда самым главным, а брак требует много жертв. Способна ли ты пожертвовать своими научными занятиями ради того, чтобы посвятить большую часть времени вещам для тебя скучным: быту, магазинам, стирке. А если родятся дети, то неизбежно должна будешь принести такую жертву. Подумай.

И каждой по-разному. Нам, неопитам, отец Иоанн любил говорить: «Готовьтесь к длинной дистанции, не торопитесь». Вместе с тем он был требователен, строго наблюдал, чтобы был духовный прогресс, чтобы его духовные чада росли «из силы в силу».

Отец Адриан

Отец Адриан — известный на всю Россию усмиритель бесов. Он — худенький, маленький, весь седой. А вместе с тем это ещё совсем не старый монах, ему нет и шестидесяти лет. Со всей страны приезжают в монастырь бесноватые, кликуши, больные люди. Интересно, что в обычной жизни кликуши и бесноватые ничем не отличаются от остальных людей. В монастыре же человек выявляет в себе и самое хорошее, и самое плохое. В миру многие из этих несчастных женщин (есть и мужчины, но их меньше) чувствуют какую-то постоянную невыносимо давящую тяжесть. Это чувство толкает их искать освобождения в монастырях. Порой во время литургии в Печёрском монастыре стоит вой и крик: одни

кричат по-звериному, другие бьются оземь, третьи со злобой выкрикивают богохульства. Такую кликушу нелегко подвести к Причастию. Несколько человек держат её, напрягаясь изо всех сил. Меня всегда поражало полное спокойствие причащающего священника. Он действует как власть имеющий, как лекарь и победитель. После принятых Святых Тайн кликуши обычно успокаивались, лица их были мягкими и кроткими, многие неслышно плакали.

Два раза в неделю отец Адриан устраивает изгнание бесов. Вход на него посторонним строго запрещён. Несколько часов подряд старец читает специальные молитвы. Ему помогал в те дни молодой монах. Все остальные люди в церкви (было человек двадцать) пришли к старцу как пациенты. Вначале бесноватые кричат, плюют в старца, валяются по полу. Но постепенно некоторые из них ослабевают, некоторые начинают помогать старцу — ставят свечки, вместе молятся.

Такие сеансы можно было квалифицировать, согласно советским законам, как нелегальное лечение. За это у нас (если лечишь без диплома врача) строго наказывали. Отца Адриана, по рассказам в монастыре, несколько раз избивала милиция, почти до смерти. «Месть бесов», — говорили в народе. Избивали его жестоко, на глазах у других монахов. Я спросила одного из братии: «Так почему же вы не заступились?» Монах ответил мне: «Это не по-монашески — вмешиваться в Божий промысел. Отец Адриан хотел принять страдание и был готов его принять».

На балконе своего настоятельского домика часто стоял отец Алипий. Он немного юродствовал, ведя с приезжими разговор со своего балкона. В людях он разбирался безошибочно. Вот подошла к балкону хорошо одетая, молодая женщина. Глаза опущены.

— Благословите, — говорит она, — отец Алипий, в монастырь хочу поступить.

— Ты, в монастырь? Не благословляю! (Потом, уже сердясь) Иди санитаркой в больницу. Пить будешь, ругаться начнёшь, но на такой работе спасёшься, а в монастыре ты погибнешь. Не благословляю.

В монастырь часто заходят группы туристов посмотреть на памятник культуры, на экзотику монашеской жизни. Туристы держатся неуверенными группками. Многие из них чувствуют, что попали совсем в другой мир. Им интересно, но они не знают, к кому обратиться, кого расспросить. Не знают они, и как подобает ходить, смотреть и разговаривать в этих необычных условиях. На фоне красивой пластики неторопливых монашеских движений светлые туристы кажутся нелепыми и растерянными. Некоторые из них как бы стыдятся своего любопытства, другие (таких немного) ведут себя вызывающе. Особенно раздражают их молодые верующие, такие как мы с подружкой. Как это, в век науки и космоса, молодёжь с интеллигентными лицами и в монастыре. Крестятся, кланяются, платочки на голову надели! Совсем с ума сошли!

Жажда вступить в борьбу с религиозным туманом так и охватывает некоторых особо беспокойных туристов. Монахи обычно проходят мимо,

не разговаривают, но вот настоятель монастыря отец Алипий не прочь поговорить с атеистами:

— Не стыдно Вам в глаза народу смотреть, — кричит одна из воинствующих атеисток. — Вы — паразиты, кормитесь за счёт народа. Чей хлеб-то вы едите?

— А мы и есть народ, — спокойно отвечает отец Алипий. — Нас от народа никак нельзя оторвать. Например, наши пятнадцать монахов — участники минувшей войны, и я тоже.

Конечно, не стал распространяться отец Алипий перед этой женщиной о том, что монастыри отдают нынче государству шестьдесят процентов своего дохода — платят налог. А государство, отделённое от церкви, может только позавидовать, как хорошо поставлено монастырское хозяйство. С молитвой и усердием работают монахи, не задумываясь о «стимулах» к труду. За высшее счастье почитают помощь в монастырских работах паломники. На монастырских кухнях в тогдашней голодающей стране кормились целые деревни.

Отец Алипий в прошлом художник. Он очень любит творческую молодёжь. К нему за советом и благословением едут наши религиозные художники. Вчерашние язычники и скептики, ниспровергатели моральных норм и всяческих авторитетов, они с благоговением, понизив голос, произносят сегодня это имя — отец Алипий.

Из дневника эмигрантки

29 июля 1980

Приехала в Вену. И что почувствовала? Свободу? Нет. Свободной была и в России. Свобода — это дар Божий, обязанность, а не право (так, кажется, у Бердяева). Счастье? Но счастливой была и в России, несмотря на бездомность, страшную загруженность, предательство и нервозность.

Почувствовала, что попала в мир формы. Всякий смысл в нём нашёл своё выражение, свою благородную оболочку. Вена в первый же день поразила тем, что все вещи здесь спешат понравиться и чем-нибудь услужить человеку. Красота, в которой нет назойливости, но которая тем больше пленяет.

Радостно это открытие западного мира. Душа давно искала красоты и завершённости, она устала видеть болезни, хаос и вечную бесформенность происходящего.

Поразил антропоморфизм западного устройства. Но тут же открылись и соблазны этой жизни, прекрасно, кстати, описанные Марксом в главе о «товарном фетишизме».

Если в России нам приходилось употреблять слишком много сил на то, чтобы преодолевать множество препятствий, связанных с невероятно трудным

внешним образом жизни: шум на улицах, давка в транспорте, грубость, очереди и т. д.; то здесь соблазн от противоположного — слишком всего много. И если недостаточно твоё стремление к Небесам, то навеки станешь рабом земли.

Соблазну Востока и соблазну Запада можно противостоять лишь Духом Святым, животворящим нашу русскую скудость и просветляющим западное изобилие.

Не успела ещё открыть здесь глаза и свободно вздохнуть, как обрушилась пресса. Но как-то сразу почувствовала, что мир этот тоже мир Божий, что здесь уже многое сделано, создано и построено, и что такой мир сотворён «хорошо весьма». Почувствовала даже, что попала на Родину, выпала некоторым образом из заколдованного круга и ясно увидела многое из того, что только предчувствовала. Уже в России я вела диалог с этим миром, теперь наш диалог наполнился звуками, ожил.

30 июля 1980

Меня удивляют некоторые наши эмигранты. С первых дней своего пребывания на Западе они говорят с какой-то злой решительностью: мы не хотим здесь ассимилироваться, мы будем служить только России. Даже самые открытые, самые бесстрашные (Юля В., например). Думаю, в них говорит страх. Да, это точно страх.

Я же хочу работать, понимать. Я люблю этот новый мир — в нём всё зависит только от самого человека. Профессор Вухер, пастор Форг — вот

доказательство тому, что повсюду есть настоящие люди. Проснувшись на этой земле, я с ужасом подумала: «Где я? В Вене!» Но то был ужас рождения. И конечно, ужас потери. Никогда, больше никогда не увижу я любимый, больной и сросшийся со всей моей жизнью Ленинград — Петербург. Никогда не будет больше рядом моих друзей, за которых была готова в любую секунду жизнь отдать.

Пока для эмоций времени нет. Когда корреспонденты спрашивают, что я чувствую, приехав в Европу, я улыбаюсь. Что могу чувствовать, если непрерывно говорю, выступаю, «позирую». Ну а ночью, во сне, моя душа откликается на разлуку. Сегодня во сне горько плакала от чувства утраты. Вчера мне приснился город, его серые улицы, грязные парадные и тёмные дворы. Мне снилось, что я опаздываю на свой лифтёрский пульт, что какая-то старуха уже злобно и подозрительно встречает меня, и мне нужно что-то придумывать в оправдание. Обычный сон. Сейчас он показался мне кошмаром. Не раз, как бы очнувшись, я спрашивала себя: «Неужели я в Вене?»

Давно готовилась к эмиграции, знала, что, наверное, вышлют, но никак не могу понять, что это уже произошло.

Вижу, что многие эмигранты, потеряв основание для суеты и вечного обвинения кого-то, кроме себя, потеряв зримого врага и источник вдохновения — КГБ, оказались людьми опустошёнными, одинокими и унылыми. Как надоедает их бесконечная болтливость, неприятна разбросанность и неспособность к работе. Отняли внешнее сопротивление — угас внутренний огонь. В России я любила ходить по краю пропасти, нуждалась в постоянном

ощущении риска, но всегда знала, что в сердце должно остаться место для тишины, для «тихого света».

1 августа 1980

Ю. и Н. стали для меня какими-то чужими. Ю. раздражает тем, что живёт только своими «женскими» проблемами. Она эгоцентрична, завидует славе других. Н. не умеет себя вести, постоянно громко смеётся, всё делает с невыносимой, самовлюблённой медлительностью. Господи, прости, что я их так мало люблю.

Но и они изменили отношение ко мне. Они считают, что я «тяну одеяло на себя». Я-то вначале думала, что до потери сознания тружусь для всех; так уж получилось, что я одна говорю на языках. Журналисты предпочитают обходиться без переводчика (дорого). Естественно, моя точка зрения почти по всем вопросам не совпадает с точками зрения других «феминисток». И пропасть между нами растёт.

Сознание с жадностью конструирует новый космос, новую картину мира, а подсознание отстаёт и жалуется. Сегодня во сне я плакала, потому что в Вене нет моря.

Зато как удивительно прекрасен этот мир, всегда живший в молчаливом подсознании, накопленный книгами, философскими размышлениями, любовью к «дальнему», мечтой о Германии. Всё, о чём смутно мечталось, вдруг обрело плоть, и неизвестный Бог вдруг стал Другом.

«Друг! Неведомый! Там он почуял иные края, где нет памяти, где не больно дышать, там они те пространства родные» (Е. Шварц).

31 августа 1980

Странно, что интервью всяким газетам и журналам мне проще давать на немецком и даже английском, чем на русском. Русский мне кажется чересчур интимным и беззащитным перед смыслом. Смысл того, о чём меня спрашивают, обычно незамысловат, даже слишком незамысловат, чтобы говорить об этом выразительно и не краснея. Английский и немецкий заставляют хоть немного напрягаться, образуют механизм защиты от банальности высказывания.

Иногда журналисты, желая написать что-нибудь новенькое, провоцируют меня и задают не совсем обычные вопросы.

Симон из французского журнала «Эль» попросил расположить на моей шкале ценностей четыре понятия. У меня вышло: Религия, Философия, Родина и Женщина.

Таким образом был разоблачён мой «феминизм». Симон (журналист неглупый, ироничный и в меру циничный) заметил: «Да, фрау Горичева, вы тонкий и умный политик». Что значило: вы тонко и умно оседали модную тему «феминизм», правильно поняли конъюнктуру.

Но Симон неправ. Я наивно полагала, что на христианском Западе поймут, что значит Бог для меня, да и для всего нашего женского движения. Теперь вижу, что все мои богословские комментарии старательно не замечаются. Вчера выступала по венскому телевидению — к своему удивлению, увидела себя говорящей о войне в Афганистане, о положении советской женщины, но только не о Церкви.

Здесь люди по-разному реагируют на мою религиозность. Никто, естественно, не понимает, что для меня религия — не идеология и даже не мировоззрение, а нечто мистическое, духовное. Но до этого разговор вообще не доходит. Приходится отстаивать христианство хотя бы на уровне истории, культуры, экзистенции.

Говорю, что Церковь в России страдающая, это — Церковь мучеников. Она не может не дать священников, которые самым непосредственным и конкретным образом откликаются на страдания своей паствы (почти исключительно женской). Говорю, что мы открыли Бога как высшую реальность и свободу, а не как ещё одну тюрьму: достаточно мы подели их на своем веку. Уже устала всё это без конца в толковать.

Встречаемся с феминистками, приехавшими в Вену со всего света. Отношение их к нам самое лучшее, почти восторженное. Но верующих среди них совсем нет. Римского папу они ненавидят как главного врага.

Н.М., которая быстро подпадает под разные влияния, рассказывала мне о первой феминистке Дании. Она «ведьма», и Н.М. говорила о ней с восхищением.

Сегодня мне приснился сон по Юнгу, то есть сон саморазоблачительный. Снилось, что неожиданно вернулась в Россию. «Как?! Вы уже так быстро приехали?» — спросили меня там. Меня окружили несколько мужчин (анимусы, от которых я убегаю). Бегу к такси. Оно окружено ужасного вида женщинами. Понимаю, что это ведьмы. Меня сажают в машину какие-то две очень знакомые женщины.

Раньше доброе выражение их лиц теперь неприкрыто злое, сверкающее злом. «Хорошо, что ты их оставила», — говорят они мне, показывая на мужчин, и начинают ласкать. Я буквально коченею от ужаса и только шепчу: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя».

2 апреля 1981

Была на церковном дне в Гамбурге. Неприятно поразил поверхностный, политиканский ажиотаж молодёжи. Церковный день, но как мало говорилось о вере и о церкви. Как будто попала на огромный комсомольский митинг, какие в Советском Союзе могли быть только в первые послереволюционные годы. Дух стадности, где нет лиц — только маски, нет человеческих голосов — только крики, нет мысли — только демагогия. На этом церковном дне я познакомилась с немецким пацифизмом. В самом стремлении бороться за мир нет ничего плохого. Все хотят мира. Но для русских христиан ясно, что без внутреннего мира и свободы не будет мира и внешнего. Преподобный Серафим Саровский сказал: «Будете иметь внутренний мир, и тысячи людей спасутся вокруг вас». Здесь же у молодёжи речь идёт явно не о жизни, а о выживании. Как противоположно всё это тому, что происходит сейчас с русской молодёжью. Там готовы потерять физическую жизнь, лишь бы не умереть духовно.

Жаль, что Запад не чувствует нынче цену страдания, его обновляющую и очищающую силу. Не понимает, что главное — не вопрос физических

мучений, даже смерти, а вопрос смысла. Мученики, умиравшие за Христа, светились радостью; опыт гонимой русской церкви ясно говорит, что страдания за Бога не отделяют от Него, а, напротив, приближают. Активность и беспокойство молодых пацифистов принимают какие-то уродливые формы. Страшно, что в этой активности исчезает личность.

2 мая 1981

Вижу, что многие русские эмигранты, вчерашние диссиденты, люди горячие, смелые, оказались здесь, на Западе, опустошёнными, потерянными, унылыми. Отняли внешнее сопротивление, и исчез внутренний огонь. Вот в чём недостаток людей только героических — для жизни им необходим враг, нужна пограничная ситуация, риск, стояние на краю. Я всё это тоже любила, но одновременно и стыдилась, потому что Бог поселяется в сердце, очищенном от страстей. Бог — «свет тихий». «Всё великое рождается в тишине», — сказал Ницше.

10 мая 1981

Как ни трудно здесь, в непривычном мире, но я благодарю Господа, что Он дал мне полностью изменить мою жизнь.

Я на другой планете: не только ум должен обновиться, оторваться от старых клише и схем, но и тело. Даже оно должно забыть прошлые запахи, краски, ожидания. Оторваться от привычного, от того, что

было механизмом защиты, надёжным прибежищем .
моей лени и эгоизма, порвать со сладким миром памяти, почвы, материнского лона. Стать опять беззащитной, как тогда, в первые дни моего христианства, беззащитной — значит, нуждающейся в Боге.

Пустота, окружающая эмигранта, цветы без запаха, люди без истории, деревья без названий. Нужно быть иноком, монахом, чтобы принять и полюбить марсианский мир вокруг. Нужно жить непрерывной молитвой; ведь если Бог не спустится в это пустое пространство — человек погиб. В эти месяцы мой Бог стал мне ещё ближе, чем раньше.

И у меня есть надёжная опора — церковь, благословение моего духовника, который перед эмиграцией сказал мне: «Помни, ты — не в изгнании, ты — в послании».

Эмиграция ставит человека перед решением: или гибель в полной пустоте (как много в эмиграции несчастных людей, даже самоубийц), или преодоление нигилизма через любовь. Я заметила, когда у меня в сердце тишина и свет, то и всё вокруг меня оживает и одухотворяется, даже каменные франкфуртские небоскрёбы начинают дышать, оживая в новой и смелой динамике, даже с ними я могу вести диалог.

7 мая 1983

Сегодня Страстная Пятница, вечер. Только что .
пришла из церкви. Была одна из самых непостижимых и глубоких служб в году. Пели «Волною морскою...». Песнь о том, как волны морские скрыли египетского фараона. На языке же реальном, или

символическом, пели о том, как кончилась власть князя мира сего. И звучали (вчера ещё) эти слова Господа, от которых у меня дух захватывает и дыхание прерывается: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгоняется вон!» Вот что совершается ныне! Так явно и просто: мучитель наш больше не имеет власти над нами.

А как он меня мучил всё это время, используя и мою глупую гордость, и дурное сердце, и лень. Особенно тяжело было перед выступлениями. Вот уже почти три года выступаю, говорю, вижу сотни, тысячи людей, а всё не привыкла. Последний раз была на юге Австрии, выступала в нескольких небольших городках. Приехала вначале в Виллах, очень живописный городок: Альпы кругом, речки поющие, чистые, церкви с высокими, остроконечными куполами — всё это показалось мне ненастоящим в моей тоске и одиночестве, игрушечным, угнетающим. В воздухе — уже густая, медовая теплота лета, а тишина такая, что жужжание шмеля кажется в ней самым сильным звуком. Воскресный день, неторопливые, довольные миром и собой супружеские пары изредка встречаются мне на моём пути. А иду я в самый высокий центральный собор, чтобы молитвой свою тоску разогнать. И непонятна она: эта тоска оттого, что я — эмигрант и с меня мою кожу содрали, то есть родину, корни мои, мой язык и всю мою телесность куда-то унесли? Или оттого, что я боюсь говорить, выходить из своей тяжелой, инертной субъективности к людям, да ещё о каких высоких, опасных и ответственных вещах рассказывать?! О священном огне, который там, в России, однажды коснулся моего сердца, о мучениках за веру, о святости, как

о единственном пути к себе и к Богу. Могу ли я, стремящаяся сейчас в своей непонятной печали превратиться в мышь и убежать подальше ото всех, предстать перед людьми и говорить о таких вещах? Всё это, видимо, искушение.

Начинаю ненавидеть не только себя, но и этих людей. Вот она, буржуазность. Можно понять настроения левых: так трудно людям хотя бы другого темперамента, не говоря уж о тех, кто носит в себе другие «ценности», находиться в этом сонном мире. А от скуки и марксизм, и маоизм, и всё что угодно в голову залезет.

Подхожу к церкви. Читаю объявления: «Ремонт фасада», «Советы для семьи», «Берегите здоровье», «Гимнастика для мужчин» и, наконец, «Духовное Воскресение России. Т. Горичева». Самое мне место. Это уже ад. И всё же я не имею права на презрение ни к одному человеку.

Мне становится ещё тоскливее. Зачем я здесь? Но настало время доклада. Зал переполнен, пришли самые разные люди: и молодежь, и пожилые, и интеллигентные, и простые, и (как потом узнала) левые, и правые, и феминистки, и монахини. Когда я, помолившись и перекрестившись, начала говорить, все мои тяжёлые мысли исчезли. Я вдруг увидела сотни глаз, устремлённых на меня; и все эти люди, застывшие в серьёзном внимании, стали родными, любимыми людьми. Они пришли слушать и о церкви русской, и просто о России, привлекающей и пугающей, до сих пор неразгаданной, несущей надежды и страхи. Когда вижу я эти глаза, всё, что вложил в них Бог, возвращается в моё сердце;

из глубины души поднимаются такие чувства, которых и не жду от себя. Я почти всегда говорю не то, что хотела сказать заранее. Часто повторяюсь, но каждый раз заново всё переживаю, умирая и воскресая вслед за своим рассказом. Всё как в первый день моего «творения», как в секунду обращения.

После доклада или свидетельства (так лучше называть) обычно задают множество вопросов, долго не отпускают. И каждый раз, как замечаешь великую нужду людей в Смысле, в Живом, не идеологизированном, Боге, в опыте, бывает стыдно потом за уныние, за презрение к людям, среди которых есть и такие, которых мне никогда не забыть.

Одна супружеская пара, например, Габриэле и Стефан, всю свою жизнь посвятили престарелым, самым несчастным и одиноким людям. В больницах, домах престарелых они ищут тех, кто нуждается в их душевных, физических силах, кто нуждается в их материальной помощи, делают всё, чтобы помочь этим людям. Это нелегко в их возрасте, но оба просто светятся огнём молодости, распахнутые на встречу всему, летящие. У них нет своих забот, даже нет своих удовольствий и привязанностей. Они с утра до вечера думают только о том, как бы угодить Богу. (У меня-то вся жизнь из одних удовольствий состоит: есть книги, мысли, искусство, молитва — всё удовольствие.) Такие встречи у меня уже были на Западе, с людьми, целиком принадлежащими Богу. И сколько сил, сколько питания для духа дают они мне!

20 июля 1983

Говорила на встрече католиков в Линце. После выступления, как обычно, много людей обступило, продолжали расспрашивать, что-то о себе рассказывать. Долго стояла с ними. Потом увидела, что тихо и давно уже дожидается своей очереди одна старенькая монахиня, чтобы тоже что-то сказать. Молодой священник остановил меня, когда уже спешила на вокзал — опаздывала на поезд: «Здесь только два слова вам хотят сказать». Подошла монахиня и со слезами на глазах сказала, что уже 40 лет каждый день молится за обращение России, что сегодня она от живого свидетеля, наконец, услышала, что в России таким чудесным путём и так много людей приходят к Богу.

И я подумала: моё неожиданное обращение, приход в церковь моих друзей — всё это свершилось неслучайно. И не только молитвы русских мучеников, не только их кровь стала семенем нашего христианства, но и молитвы тех, кто слышал призыв Божьей Матери в Фатиме, так точно и так любовно предупредившей человеческий род: Россия распространит дьявольское учение по всему миру, но в конце концов возродится, станет вновь достойной названия «Святая Русь».

20 августа 1980

Первый раз в своей жизни увидела религиозную передачу по телевизору. Я благодарю Бога, что у нас есть атеизм и нет религиозного образования. То, что сказал этот человек с экрана, более

располагало к тому, чтобы отвернуть людей от церкви, чем неуклюжая болтовня наших проплаченных атеистов. Щёгольски разодетому, довольному собой проповеднику приходилось говорить о любви. Но то, как он себя позиционировал, исключало всякую возможность проповеди. Разговор мог пойти по пути простой человеческой беседы... Он был плохим актёром, с механически выученными жестами. Он был безликий. Впервые я поняла, как опасно говорить о Боге.

Каждое слово должно быть жертвенным — наполненным до краёв подлинностью. В противном случае — лучше хранить молчание.

5 сентября 1980

Заботливо оберегаемая, захватывающая красота, радостная и звучная красота Европы пролетала мимо окон автобуса. Я снова подумала о наших дорогах, маленьких железнодорожных станциях, пейзажах с нависающим тяжёлым небом и бесконечных заброшенных полях с мусором на обочинах дорог, с разодранной невозделанной землёй, сиротливой и такой родственной нашему состоянию ума.

И по контрасту Европа... Для глаза русского здесь как будто бы мало места, но, с другой стороны, нет ощущения сдавленности. Альпы, цветы, леса — всё мне кажется гораздо более красивым, чем картинки, которые я видела, но израненное сердце всё принимает неправильно: чем более красивые пейзажи я вижу из окна моего автобуса, тем более пронзительна скорбь во мне. Приходят на ум слова Лермонтова: «Как пир на празднике чужом...»

На протяжении целого месяца я видела вокруг себя привлекательные лица, они всё время смеются, готовые помочь, но я чувствую горечь в своей душе. Внезапно я начинаю думать о лице Миши, отчётливо встаёт в моём сознании его сосредоточенность. Миша — это человек, которого я часто навещала в психиатрической клинике в Ленинграде. Он недавно стал христианином. Соседи по коммуналке сдали его в больницу. К счастью, это открытая клиника, а не тюрьма, и больных можно навещать по воскресеньям. Все последние воскресенья я провела с Мишей. Они начали уже пичкать его лекарствами — другими словами, медленно убивать. Этот молодой человек с яркими глазами, который прежде был таким живым, теперь стал личностью без возраста, с тонким, бледным лицом и неподвижным безразличным взглядом. Его лицо останется в моём сознании на долгое время, как воспоминание о том — другом мире, где существует вопиющее зло, где невозможно не реагировать на страдание.

Здесь даже еда, которую передо мной ставят, смущает меня, — всё такое вкусное, разнообразное, многое из этого я пробую первый раз в жизни. И снова немым упрёком воспоминания о России. Голод провинции, дети без молока и овощей, длинные бурчащие очереди людей, стоящих за предметами первой необходимости.

И наши старики! Здесь женщина пятидесяти лет выглядит довольно молодой, и я всё время путаю возраст. Для нас это была бы пожилая женщина. Тела русских женщин или раздуты болезнью, или неестественно худые; мужчины преждевременно седые

и малоразговорчивые из-за чрезмерного употребления водки; больные дети. Впервые за все эти годы счастливого и нежного христианства боль памяти разгорелась так сильно во мне, что я почувствовала злобу в отношении тех, кто всё об этом знает. Они знают, как достойно люди живут на Западе и как они живут в России. Современный писатель сказал: русское страдание должно взорвать благополучие мира.

7 октября 1980

Какая загадочная вещь свобода! Она как воздух. Люди начинают её ценить только тогда, когда её теряют. Я вижу, что западные люди также едва ли свободны. И главное, что их страсть к свободе слишком мала.

Здесь нигилизм показывает себя иначе, не так, как у нас. Например, вчера мой поезд прибыл на станцию великого немецкого города Франкфурта. Огромная станция, над ней гигантские светящиеся буквы «ММ». Я спросила свою попутчицу, что это: какой-то особый символ, слово, что-то обозначающее? Она ответила: «Это просто реклама шампанского».

Над всем доминирует тяжеловесный мир коммерции. Например, реклама. Люди говорят такими загадочными и многозначительными голосами о пустяках — стиральном порошке, различных щётках — так, как будто это самые значимые и незаменимые вещи.

Здесь даже священники стыдятся говорить о вещах, которые на самом деле незаменимы для каждого — душа, смысл жизни, спасение. Это и впрямь извращённый и искажённый мир.

Я вспоминаю священника, которого я встретила недавно. Я отправлялась в поездку, организованную одной религиозной общиной. Молодой, энергичный священник спортивного телосложения говорил на протяжении всех выходных о любых вещах, о которых хотели говорить люди: об аэропланах, о футболе, о выборах и о еде. Он много смеялся, преодолевая всеобщую усталость, чтобы сохранить у всех хорошее настроение. Он походил на наших популярных ведущих. А всё время за окнами этого автобуса был неожиданно красивый мир с отвесными утёсами, освещёнными тёмно-синим, фиолетовым — потусторонними цветами, так что мне естественно пришёл на ум один из псалмов: «Дивны дела Твоя Господи. Вся премудростию сотворил еси!»

Позже, когда мы возвращались, я спросила священника: «Почему Вы ни разу не сказали о Боге, почему Вы не говорили о красоте Его мира?» Он ответил: «Если я начну говорить о Боге, я потеряю всех моих людей и останусь один».

— Но одиночество же не грех? — сказала я и подумала, что это неправда, что священник ни в коем случае не потерял бы своих людей.

Как эти деревенские люди слушали меня, когда я рассказывала им о нашей церкви, о молитве, и они просили меня рассказать ещё и ещё!

25 декабря 1980

Здесь я впервые услышала вопрос от журналистов: «Почему Вы не хотите стать священником?»

Должна сказать, что для русской православной женщины это звучит странно. Почему наш феминизм никогда не знал этой проблемы? Нужно поискать

ответ. Автоматически приходят на ум слова Господа: кто хочет быть первым, будь всем слугой. В наших церквях не говорится о проблеме земного равенства или неравенства. Там законы немного другие — там Небо спустилось на землю. Наши женщины относятся к священникам с благоговением, но они также понимают и ответственность, которой наделен каждый священник перед Богом и человечеством. Крест священника тяжелее креста женщины, которая не имеет посвящения, и легче спастись, если занимаешь простую, неприметную позицию. Есть и другое выражение, применимое к женщинам, что и сегодня спасает церковь: Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных.

26 декабря 1980

Сегодня я впервые в жизни говорила в церкви. Это произошло в гигантском соборе святой Марии в Линце. Отец Ф. пригласил сказать несколько слов перед мессой. Я ужасно смутилась. Но поскольку отец Ф. очень просил, набралась смелости и заговорила. Говорила по-немецки, Господь дал слова и силу говорить о нашей русской церкви, идущей благословенным, царским и крестным путём. Я говорила о чудесных обращениях к Богу, о том, что Он и из камней соделывает детей Господних. Я хотела донести до моих слушателей ощущение чуда, хотела, чтобы и они почувствовали меру — вернее безмерность — нашей благодарности: совсем не по нашим заслугам мы были спасены, как будто вырваны из объятий жуткой, смертельной болезни.

3 февраля 1981

Возможно ли, чтобы эмиграция откинула меня назад? Иногда я слёзно молюсь: «Господи, не дай мне пропасть, потерять мою душу; не дай, Боже, пустоте и скуки убить меня». Это я, которая когда-то считала романтизм и поэтические причуды незрелыми, я, которая открывала в христианстве высший реализм и которая стыдилась своих бывших пристрастий, относилась к ним, как к «языческим», которая однажды стала отрицать даже Достоевского — он мне казался слишком истеричным, не соответствующим «трезвости» и настоящей вере. И всё это было не из снобизма, не из-за возвышенного рвения неофита. На самом деле я видела, что нигилизм отвратителен, что он смешон и даже безвкусен. По сравнению с литургией вся романтическая литература и современная культура предстали в «небрачных» одеждах, жертвами примитивного самолюбования. После «Иисуса Сладчайшего» любой хлеб казался мне грубым и безвкусным, и куда исчез этот вкус?

Как и до того, я живу молитвой, как в то время, когда я шла в церковь с чувством внутреннего восторга — как будто и впрямь я возвращалась домой. Но там, в России, жизнь была полна до краёв, была интенсивной, насыщенной и даже буйной. Не было пустоты в ней. Несмотря на внешние сложности, ее окрашивала веселость, бодрость, которая ведёт к освобождению, бодрость, которая сделала нас неуязвимыми. Россия сегодня проходит сквозь девятый круг ада. И тем не менее там живут самые счастливые люди в мире.

4 марта 1981

В церквях здесь нет нищих, но есть люди, которые хорошо и со вкусом одеты, и мне кажется даже странным видеть их в церкви. Можно увидеть и много мужчин — другое большое отличие от России. Но вскоре замечаешь, что общая атмосфера совсем не молитвенная. Большинство остаются рассеянными и равнодушными, стоят со сложенными на груди руками. В России же так ведут себя только любопытствующие туристы. Я недавно говорила с русскими эмигрантами и резко им сказала: «В наших церквях только люди из КГБ так стоят». Женщина парировала: «Но мы же в церкви с детства, мы привыкли к этому».

Вчера я услышала ещё более потрясающие слова в проповеди, сказанные русским священником-эмигрантом: «Мы, которые посещаем церковь...» В церкви не живут. Её посещают. Я никогда не смогла бы себе представить, что люди могут привыкнуть к церкви. Это показывает, что церковь может стать самой скучной «институцией» в мире, и в своей банальности можно растворить чудо веры — той, что движет горами и воскрешает мёртвых.

И все же это — церковь. Я буду любить её. Несмотря ни на что. Как просто было любить гонимую, нищую, плачущую церковь. А теперь надо полюбить богатую и самодовольную, которая во всем противоположна изначальной.

Возможно, эта «обделённость» церкви здесь мне в чём-то полезна. Я сейчас вхожу в церковь, которая не имеет никакого блеска. Сейчас я иду прямо к Богу и прямо с Ним говорю. Там, в России, появлялось что-то вроде гордого чувства — взгляда на себя

со стороны: ты стоишь в церкви, люди смотрят на тебя как на героя, на нового человека. Сейчас модно быть в церкви, так же как раньше модно было быть революционером. Разумеется, это хорошая мода, и есть в ней некая привлекательность. Тем не менее это — мода. Что-то здесь раздражает. Каждая мода является маской, обманчивой внешностью, и в Евангелие говорится, что такие люди уже получают свою награду. Я рада, что моя вера потеряла свой внешний блеск теперь, в эмиграции. Путь к Богу должен быть сокрыт, и Бог, который видит это, откроет то, что скрыто. На Западе церковь — церковь любой конфессии — «самоистощается», она погружена в кенозис, и трудно представить что-либо страшнее и глубже этого.

Лучшие люди России постоянно прибиваются к закованной в кандалы церкви, которая не реагирует на мир, у которой нет никакой рекламы и апологии. А церковь на Западе, независимо от её гигантских попыток идти в ногу со временем, теряет всё больше и больше людей. Это происходит так, как будто она потеряла и свой дух, и свою силу. Всюду церковь идёт крестным путём. Только в России видно, что крест побеждает. Здесь же всё скрыто и неразлично.

21 марта 1981

Эврика! У меня есть решение. Не те, кто увидели, но те, кто, не увидев, поверили, по-настоящему блаженны. Поэтому подлинные христиане на Западе должны быть более благословенными, чем те из нас, кто пришёл к вере в России. Есть такие, как апостол

Фома: подобно ему мы, русские, видели Его раны и прикасались к ним, к Его реально бессмертному уже сейчас телу. Мы чувствовали Бога и понимали, что Он более реален, чем мир вокруг нас.

Но здесь редко встретишь человека с подобным опытом. И тем не менее я встречала настоящих верующих.

24 ноября 1983

Спрашиваю себя: чего бы я более всего на свете желала сейчас? Я бы хотела вдруг оказаться в маленькой деревянной церкви, которая стоит посредине душистого соснового леса в монастыре под Ригой. Как всегда, в этой церкви я бы хотела почувствовать опять, что ничего не значу, ничего не знаю, ничего не могу. Хотелось бы понять не только умом, но всем существом своим, сгорая от стыда, как ложны все мои представления о себе и о мире. В то же время меня переполняет радость, подобная той, какую радуются ангелы в небе, видя кающегося грешника.

Затем меня непреодолимо тянет упасть на колени, коснуться лбом тёплого деревянного пола, когда неземные, таинственные голоса монахинь поют «Господи, воззвав к Тебе, услыши мя», или, когда священник в алтаре произносит мягким голосом: «Слава Тебе, показавшему нам свет». В этой мягкости есть скрытая сила, которая может создавать или разрушать миры.

Но если я испытаю это вновь, то это будет за пределом другого мира.

*Обложки иностранных изданий
книги «Опасно говорить о Боге»*



На немецком:

Von Gott zu reden ist gefährlich.

Meine Erfahrungen im Osten und im Westen.

Herder Verlag GmbH, 1994.

Tatjana Goritschewa
Von Gott zu reden
ist gefährlich

Meine Erfahrungen im Osten und im Westen

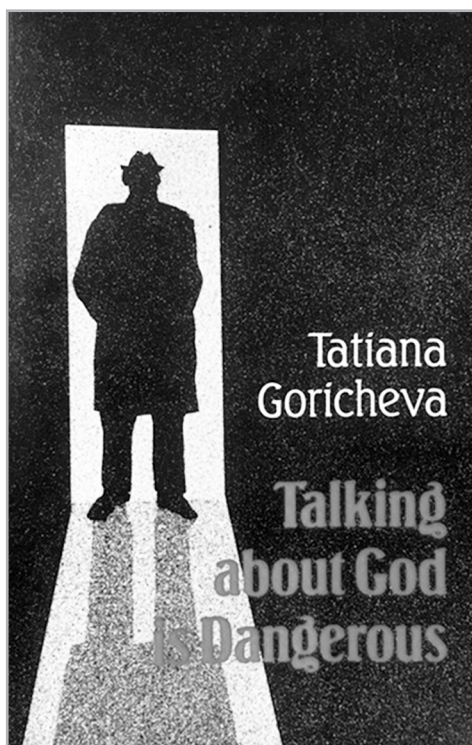


Vandenhoeck

На немецком:

20-е издание.

Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997



На английском:

Talking About God Is Dangerous.

My Experience in the East and in the West.

London: SCM, 1986. First published in Britain

Talking About God Is Dangerous

THE DIARY OF A RUSSIAN DISSIDENT



Tatiana
Goricheva

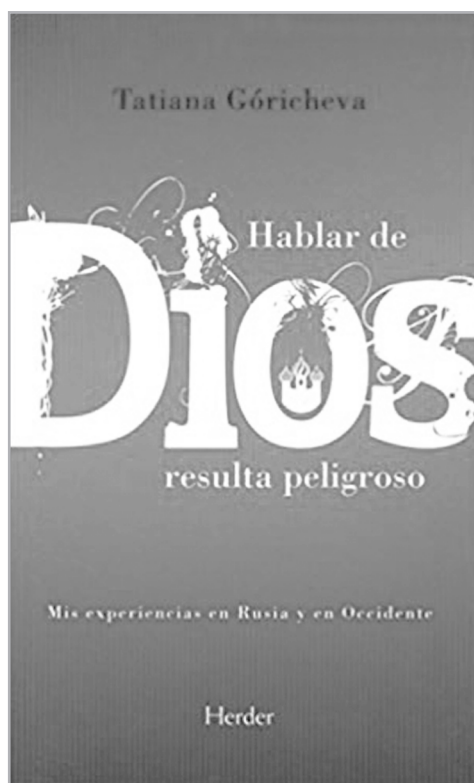
На английском:

Talking About God Is Dangerous:

The Diary of a Russian Dissident.

German (translation).

New York: Crossroad Pub Co; 1st edition 1987.

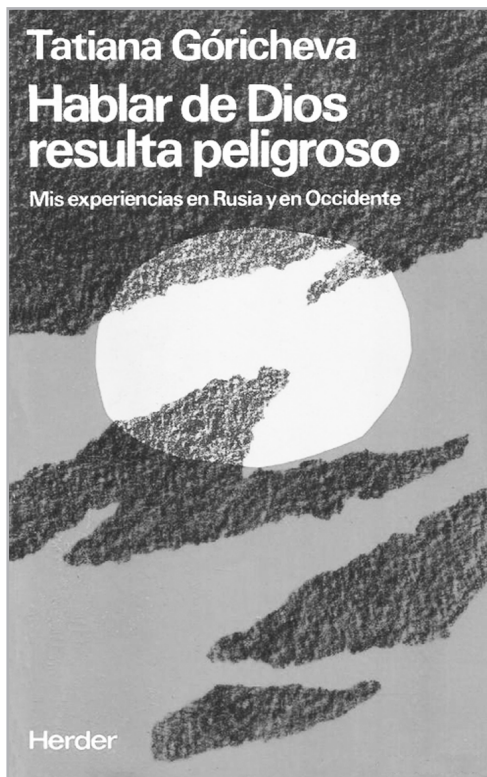


На испанском:

3-е издание.

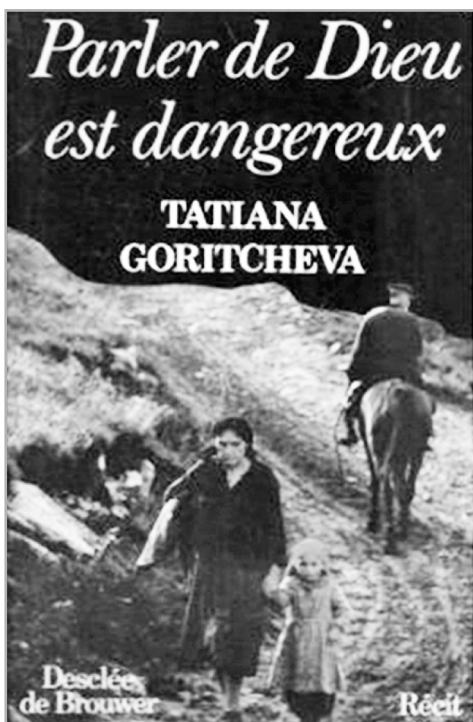
Hablar de Dios resulta peligroso.

Madrid: Herder, 1988.



На испанском:

Hablar de Dios resulta peligroso.
Mis experiencias en Rusia y en Occidente.
Barcelona: Herder, 2010



На французском:

Parler de Dieu est dangereux.

Paris: Desclée de Brouwer, 1991



tatjana goričeva
GOVORITI O BOGU
JE NEVARNO

На словенском:

Govoriti o Bogu je nevarno:
moja izkustva na Vzhodu in Zahodu.
Ljubljana: Družina, 1989



На польском:

Mówić o Bogu to niebezpieczne.

Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni
Archidiecezjalnej TUM, 1990

ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΟΡΙΤΣΕΒΑ



ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΝΑ ΜΙΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ

Μετάφραση
Μαρία Λαγουρού

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΗΝΟΣ»

На греческом:

Είναι επικίνδυνο να μιλάμε για τον Θεό.

Εκδόσεις: Τήνος, 1990

Горичева Татьяна Михайловна
ОПАСНО ГОВОРИТЬ О БОГЕ

Редактор *Т. И. Ковалькова*
Дизайн обложки *Д. Д. Ивашиных*
Оригинал-макет *Н. Л. Балицкая*
Корректор *Е. В. Величкина*

Подписано в печать 14.03.2019 г.
Формат 84×108/32. Усл. печ. л. 7.
Печать офсетная.